

Виктория Самойловна Токарева
Джентльмены удачи (сборник)



Виктория Токарева Джентльмены удачи (сборник)

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Джентльмены удачи

По желтой среднеазиатской пустыне шагал плешивый верблюд. На верблюде сидели трое в восточных халатах и тюбетейках. За рулем (то есть у шеи) восседал главарь – вор в законе и авторитет по кличке Доцент. Между горбами удобно устроился жулик средней руки Хмырь, а у хвоста, держась за горб, разместился карманник Косой.

Ехали молча, утомленные верблюжьей качкой.

Навстречу жуликам повстречался старик узбек.

– Салам алейкум! – заорал Косой, обрадовавшись новому человеку.

– Алейкум салам, – отозвался старик.

– Понял... – с удовлетворением отметил Косой.

Старик продолжал свой путь, а жулики свой.

– Хмырь, а Хмырь, – Косой постучал соседа по спине, – давай переседем, а? У меня весь зад стерся. Доцент, а Доцент! Скажи ему!

– Пасть разорву! – с раздражением отозвался Доцент.

– Пасть, пасть, – тихо огрызнулся Косой.

В песке торчал колышек, а на нем табличка в виде стрелы:

...

«АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ № 13. 2 км».

Жулики спешились.

– Уложи верблюда, – распорядился Доцент и стал карабкаться на вершину бархана.

– Ляг! – приказал Косой верблюду. – Ложись, дядя!

Верблюд не обратил на приказ никакого внимания. Он стоял, старый и высокомерный, перебирая губами.

– Слышь? Кому говорят? Ложись, скотина. Пасть разорву!

Верблюд оттопырил губу и плюнул в лицо Косому.

– А-а!! – завопил Косой. – Ты что, дурак, шуток не понимаешь?!

– Тихо ты! – одернул Доцент с бархана. С высоты он оглядывал перспективу в полевой бинокль.

До самого горизонта лежала пустыня, как застывшее море. Потом, приближенные биноклем, выступили какие-то древние развалины, палатки, люди...

Стояла ночь. Над пустыней взошла луна.

– Пора, – сказал Доцент.

Он лег на живот и пополз по-пластунски. Хмырь тоже лег и пополз. Далее следовал Косой, а за ним безмолвно и преданно зашагал верблюд.

– Доцент, а Доцент, – растерянно позвал Косой. – Верблюд...

– Гони! – приказал Доцент, обернувшись.

Косой встал, и его лицо оказалось вблизи от верблюжьей морды. Верблюд узнал Косого и оттопырил губу...

– А ну тебя... – Косой махнул рукой и побежал догонять товарищей. Верблюд не

отставал.

Возле входа в древнюю усыпальницу дежурил сторож. Он сидел на камне, положив берданку на колени.

За его спиной послышались шорохи. Сторож обернулся, но не успел ничего увидеть, потому что его схватили, повалили, связали и засунули в рот кляп...

Сухо щелкнула в замке отмычка. Заскрипела дощатая дверь, наспех сколоченная археологами. Жулики ступили в усыпальницу.

Жидкий свет фонарика выхватил из темноты каменный свод, гробницу, дощатый стол. На столе тускло мерцал золотом древний шлем...

– Порядок, – тихо сказал Доцент.

– У-у-уа! – вдруг прорезало тишину ночи.

– Верблюды! – выдохнул Хмырь, цепенея от страха. – Заткни ему глотку! – приказал он Косому.

– Да ну его! Он кусается!

Из палатки археологов выглянул бородатый ученый, профессор Мальцев. Пошел по направлению к усыпальнице.

– Кто тут? – крикнул он в темноту.

Доцент выхватил нож и застыл, прижавшись к двери.

– Доцент, а Доцент, спрячь перо! – испуганным шепотом умолял Косой. – Не было такого уговора...

– Глаза выколю! – прохрипел Доцент.

На полдороге профессор остановился.

– Опять эти кошки... – пробормотал он и беззлобно припугнул: – Кыш!

Евгений Иванович Трошкин – заведующий детским садом № 83 Черемушкинского района Москвы – стоял у себя дома в ванной комнате и брился электробритвой, вглядываясь в свое лицо. Он привык к своему лицу, не находил в нем ничего выдающегося и, уж конечно, не мог знать, что как две капли воды похож на вора-рецидивиста по кличке Доцент. Только Трошкин в отличие от Доцента был лыс.

Он кончил бриться и вышел на кухню. Здесь над тарелкой манной каши колдовали две женщины – мама и бабушка.

Трошкин сел, продвинул к себе тарелку с кашей и развернул свежую газету. Мама и бабушка присели напротив и с благоговением смотрели на него.

– Во! Опять насчет шлема, – сказал Трошкин, найдя что-то в газете, и прочел: – «Начальник археологической экспедиции профессор Мальцев Н.Г. предполагает, что пропавший шлем относится к четвертому веку до нашей эры и является тем самым шлемом Александра Македонского, который, по преданию, был утерян им во время индийского похода...»

– Какое безобразие! – сказала мама.

– Найдут, – успокоил Трошкин.

– Не найдут! – с жаром возразила бабушка. – Вон у Токаревых половичок пропал – нужная вещь, и то не нашли!..

А во Всесоюзном угрозыске, в своем кабинете, полковник Верченко показал профессору письмо и отложил в сторону. – Союз архитекторов, коллектив Тульского оружейного завода, отдел культуры ЮНЕСКО... Уже и ЮНЕСКО подключили?

Мальцев кивнул.

– Товарищ профессор! – взмолился Верченко. – Ну зачем вы все это организуете?! Неужели вы думаете, что мы без этих писем не будем искать ваш шлем? Это же наша работа...

– Да-да, понимаю, – согласился Мальцев.

– Вот и хорошо, – умиротворенно похвалил полковник. – Давайте я вам отмечу пропуск, а то вас так не выпустят... Мы будем держать вас в курсе...

– Спасибо, только один маленький вопросик... Я вчера говорил с профессором

Лаусоном из Кембриджского университета. Он сказал, что, если понадобится, он может по своим каналам подключить к розыску Интерпол...

Верченко нажал кнопку, сказал в селектор:

– Славина ко мне! Вы бы лучше вместо того, чтобы звонить по Интерполам, охраняли свои находки как следует, а не бросали где попало! – упрекнул он Мальцева.

– У нас сторож был...

– Сторож! – передразнил полковник. – Это для вас шлем – историческая ценность. А для жуликов это просто кусок золота... Они могут его переплавить, распилить, наконец, продать за границу...

– О-о-о! – застонал профессор.

Вошел лейтенант Славин, белобрысый, подтянутый, и положил на стол папку.

– Личности преступников установлены. – Полковник достал из папки снимки. – Ермаков, Шереметьев, – на стол легли тюремные фото Косого и Хмыря, – Белый, – он показал фотографию Доцента. – Рецидивист, очень опасный преступник...

– Можно? – Мальцев взял у полковника снимок, взгляделся. – Отвратительная рожа... – чуть не плача от ненависти, сказал он. – Вы их поймаете?

– Безусловно, – заверил Верченко.

– Спасибо, – благодарно кивнул Мальцев и встал, но тут же вкрадчиво предложил: – А может, Глебу Иванычу позвонить?

– А что Глеб Иванович?! – раздражаясь, воскликнул полковник. – Я, конечно, очень уважаю Глеба Ивановича, но он тоже не Господь Бог и не гончая собака!

Зазвонил телефон. Полковник схватил трубку.

– Верченко слушает! – казенно и раздраженно отозвался он, и вдруг лицо его переменялось и голос стал приветливым. Он даже встал: – Да, Глеб Иваныч... Ну конечно, Глеб Иваныч!.. Так точно, Глеб Иваныч!..

Профессор на цыпочках вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь...

В проходной он отдал пропуск, вышел на заснеженную московскую улицу и, увидев подходявший к остановке автобус, бросился за ним...

В автобусе сдавленный со всех сторон современниками профессор еле вытащил из кармана пятак. – Передайте, пожалуйста, – вежливо постучал он в спину впереди стоящего гражданина.

Гражданин обернулся, и рука Мальцева застыла в воздухе: прямо перед ним в пыжиковой шапке стоял его злейший враг – Доцент!

Грабитель взял из пальцев профессора пятак, передал дальше.

– Полундра! – предупредил себя ошеломленный Мальцев.

Автобус остановился, дверцы разомкнулись, грабитель вышел. Мальцев ринулся за ним.

Профессор преследовал, как заправский детектив, теряясь в толпе, пытаясь остаться незамеченным, хотя преследуемый не обращал на него никакого внимания. Он свернул в переулок и скрылся за оградой. На воротах была вывеска:

...

ДЕТСКИЙ САД № 83

Мальцев прижался носом к стеклу. В окне был виден бандит, застегивающий пуговицы белого халата, и женщина в белой шапочке. Она что-то говорила ему, и тот рассеянно посмотрел в окно.

Мальцев моментально присел, боясь быть увиденным.

– Плохо едят! – жаловалась Трошкину молодая воспитательница Елена Николаевна. Трошкин вошел в столовую. За столиками дети скучали над манной кашей. Оглядев ребят, Трошкин громко объявил:

– Товарищи! Завтрак в детском саду сегодня отменяется!
– Ура-а-а! – восторженно закричали «товарищи».
– ...Мы совершим полет на космической ракете на Марс. Командором назначается Дима. Дима, ты сегодня командор. Прошу взять в руки космические ложки. Подкрепитесь основательно. До обеда ракета не вернется на Землю.

Дети судорожно схватили ложки и стали запихивать в рот «космическую» манную кашу.

– Гениально! – прошептала Елена Николаевна.

В это время дверь в столовую приотворилась, заглянул участковый милиционер.

– Евгений Иванович, можно вас на минуточку? – виноватым шепотом попросил он.

– Здравствуй, Петя, – поздоровался Трошкин. – Ты извини, я сейчас занят.

– Вот тут гражданин настаивает, – виновато сказал Петя, и в тот же момент из двери на середину столовой с такой стремительностью, будто им выстрелили, вылетел Мальцев.

Он схватил Евгения Ивановича за горло и заорал:

– Попался!

– Пустите! Вы что, с ума сошли?! – пытался вырваться Трошкин.

– Отдавай шлем, подлец! Ты Доцент, а я профессор!..

В подмосковном дачном поселке за низким заборчиком, заваленный до окон снегом, стоял летний садовый домик. Оттуда доносилась песня:

Стучат колеса, и поезд мчится,

Стучат колеса на ветру-у...

И всю дорогу мне будет сниться

Шикарный город на южном берегу.

Хмырь и Косой пировали за дощатым столом. Перед ними стояла начатая бутылка «Московской» и лежали соленые огурцы на газетке. – За Доцента! – Косой поднял стакан.

– Да, это тебе не мелочь по карманам тырить, – авторитетно заметил Хмырь. – Теперь тысяч по сто каждому обломится.

Они чокнулись и выпили.

– А что ты с ними будешь делать? – поинтересовался Косой.

Хмырь не ответил, усмехнулся снисходительно – было ясно, что он найдет деньгам достойное применение.

– А я машину куплю с магнитофоном, – размечтался Косой, – пошью костюм с отливом и – в Ялту! – Во все горло он запел:

Я-Я-Ялта, где растет голубой виноград.

Ялта, где цыгане ночами не спят,

Ялта, там, где мы повстречались с тобой,

Там, где море шумит о прибрежный гранит,

Поет прибой...

В ворсистом пальто и каракулевой шапке пирожком, со спортивной сумкой в руках Доцент медленно шел по тропинке среди заснеженных сосен. Поселок дышал тишиной и покоем, и Доцент, казалось, был покоен и тих, но все до последней клеточки было напряжено в нем... У калитки он остановился, постоял несколько секунд, потом вдруг резко обернулся: никого...

Доцент быстро вошел в домик.

– Ну? – встрепенулся Хмырь.

– Толкнул? – спросил Косой.

– Толкнул... грузовик с откоса, – пробурчал Доцент, зачем-то отодвигая комод. – Рыбу я ловил.

– Рыбу? – удивился Хмырь. – Какую рыбу? Где?

– На дне. В проруби у лодочной станции...

Доцент достал из-за комода пистолет и сунул его за пояс.

– Пушка!! – вытаращил глаза Косой. – Зачем она тебе?

– Ты, Косой, плавать умеешь? – спросил Доцент.
– Куда плавать?
– Ну нырять...
– Это щас, что ли? В такую холодину? Не было такого уговора! Пусть Хмырь ныряет!
– Засекли нас, – серьезно сказал Доцент.
– С чего ты взял? – испугался Хмырь.
– Чувствую. Я всегда чувствую. Расходиться надо. – Он подошел к столу. – Встретимся завтра в семь у Большого театра...
Он взял бутылку и стал пить прямо из горлышка.
– Ни с места! – раздался отчетливый приказ.
– Все! Кина не будет, электричество кончилось! – отозвался Косой и первым поднял руки.
Нам не страшен серый волк,
Серый волк, серый волк! –
пели три «поросенка» в костюмах и масках: в детском саду № 83 шла подготовка к Новому году. Дети сидели на стульчиках, как зрители, аккомпанировал на рояле Евгений Иванович Трошкин.
– Хорошо, – похвалил он и похлопал в ладоши. Дети тоже захлопали. – Теперь Серый Волк!
Из-за занавеси вышел худенький и робкий Серый Волк и тоненьким голосом затянул:
Я злой и страшный Серый Волк,
Я в поросятах знаю толк...
– Не так, Дима. Вот смотри... – сказал Трошкин, поднимаясь с места. Он снял с Димы маску волка, надел ее на себя и, моментально преобразившись в волка, зарычал:
– Р-р-р...
В дверь заглянула воспитательница Елена Николаевна.
– Евгений Иваныч, там этот... ненормальный пришел...
Профессор Мальцев ждал Трошкина в кабинете заведующего.
– Здравствуйте, дорогой товарищ Трошкин. Садитесь, – любезно предложил он.
Трошкин сел напротив Мальцева.
– Грабителей я поймал! – сообщил профессор.
– Поздравляю.
– Не с чем. Шлема при них не оказалось – я там все перерыл. А где он, они не говорят. Молчат.
– Продали, наверное, – предположил Трошкин.
– Может быть. А может, и спрятали. Теперь это можете выяснить только вы!
– Я? – удивился Трошкин. – Каким образом?
– А вот каким... – Мальцев достал из портфеля фотографию, спрятал за спину. – Закройте глаза! – потребовал он.
– Зачем?
– Закройте, не бойтесь!
– А я и не боюсь.
Трошкин зажмурился. Мальцев быстро вытащил из-за спины портрет Доцента, закрыл ладонью его лоб, чтобы скрыть челку, и скомандовал:
– Можно!
Трошкин открыл глаза.
– Кто это? – спросил профессор.
– Не знаю, – пожал плечами Трошкин.
– Это вы!
– Да, вроде я... – неуверенно согласился Трошкин.
– Ага! – обрадовался Мальцев. – А это вовсе и не вы!
Он убрал ладонь, открывая доцентовскую челку.

– Да, не я... – еще больше удивился Трошкин.

– Так вот, дорогой мой, я вам приклеиваю парик, рисую татуировки и сажаю в тюрьму! Согласен?

– Зачем? – растерялся Трошкин.

– Родная мать не отличит, кто есть кто! – Профессор забежал по кабинету. – Это моя идея! – похвастал он.

– Ничего не понимаю, – сказал хмуро Трошкин.

– Суд уже был, – сообщил Мальцев. – Тем двоим дали по четыре года. Они так, мелочь... А этому, – профессор ткнул в портрет, – восемь! Отвратительная личность, мародер! У него еще и пистолет был... Так те двое сидят в Средней Азии, а этот под Москвой. Теперь ясно?

– Нет! – отрезал Трошкин.

– Господи! – развел руками Мальцев. – Я сажаю вас к этим. – Он указал на дверь, вероятно, подразумевая под дверью Среднюю Азию. – Они думают, что вы – он! – Профессор ткнул в портрет. – И вы узнаете у них, где шлем! Татуировки сделаем ненастоящие, я договорился с НИИ лакокраски, мне обещали несмывающиеся! Согласны?

– Не согласен.

– Почему? – растерялся Мальцев, не ожидавший такого поворота.

– У меня работа, дети. Елка на носу. Пусть милиция этим занимается, пусть еще раз у них спросит. И вообще... – Трошкин поморщился. – Не получится это у меня. Да и неэтично...

– Этично – неэтично! – передразнил профессор. – У нас вот с ними цацкаются, перевоспитывают, на поруки берут. А надо как в Турции в старину поступали: посадят вора в чан с дерьмом – так, что только голова торчит, – и возят по городу. А над ним янычар с мечом. И через каждые пять минут он ка-ак вж-жж-жик!.. мечом над чаном, – Мальцев с удовольствием полоснул ладонью воздух, – так что, если вор не нырнет – голова с плеч! Вот он весь день в дерьмо и нырял!

– Так то Турция, там тепло... – неопределенно ответил Трошкин, глядя на сугробы за окном.

...А через год попал я в слабосилку.

Все оттого, что ты не шлешь посылку, –

пел Трошкин доцентским голосом, стоя в ванной комнате перед зеркалом. Он выключил электробритву, подвинул лицо к зеркалу, изучая, и вдруг, сделав свирепые глаза, выкинул вперед два пальца.

– У-у... Глаза выколю!

Он вышел в комнату, где бабушка укладывала чемодан.

– Брюки от нового костюма я положила в чемодан. А пиджак надень – меньше помнется.

– Ладно.

– Наш Женечка будет самый красивый на симпозиуме! – крикнула бабушка маме.

– Мама! – позвала мама из кухни. – У тебя пирожки горят!

Бабушка устремилась на кухню, а Трошкин, воспользовавшись моментом, быстро вытащил из чемодана брюки, схватил пиджак и, приподняв сиденье дивана, сунул костюм туда...

Поезд шел, подрагивая на стыках рельсов, равнодушно стуча колесами. Трошкин и лейтенант Славин сидели друг против друга в купе международного вагона. Славин экзаменовал Трошкина, тот нехотя отвечал, глядя из-под бандитской челочки на проплывающий за окном среднеазиатский пейзаж.

– Убегать? – спрашивал Славин.

– Канать, обрываться.

– Правильно... Сидеть в тюрьме?

– Чалиться.

- Квартирная кража?
- Срок лепить. Статья 145-я.
- Ограбление?
- Гоп-стоп. Статья 26-я.
- Девушка?
- Маруха, шалава, шмара.
- Нехороший человек?
- Падла.
- Хороший человек?

Трошкин задумался, достал из кармана записную книжку.

– Сейчас... – Он нашел в книжке нужное слово. – Зараза, – прочитал он и удивился: – Да, точно, зараза!

По улочкам небольшого среднеазиатского городка ехал милицейский «газик». – Очень похож! – говорил в машине начальник тюрьмы майор Бейсембаев, с восхищением глядя на Трошкина.

– Поработали, – похвастал Славин. – А волосы?

– А что волосы? – не понял Бейсембаев.

– Парик! – торжествующе сказал Славин.

– Можно? – спросил майор.

– Можно, – без особой охоты разрешил Трошкин.

Бейсембаев взялся за челку и осторожно потянул.

– Да вы сильнее дергайте, – сказал Славин. – Спецклей! Голову мыть можно!

– Очень натурально, – опять похвалил майор.

– Скажите, Хасан Османович, – спросил Славин. – Вы Белого хорошо знаете? И вот если б вас не предупредили, догадались бы вы, что перед вами не Доцент?

– Да как вам сказать... – Майор уклончиво улыбнулся. – Можно догадаться...

– Почему? – встревожился Славин.

Бейсембаев еще раз внимательно поглядел на Трошкина и сказал:

– Этот добрый, а тот злой...

Раздвинулись массивные ворота, и «газик» въехал в тюремный двор.

– Вот ваша «палата». – Славин отпер дверь и пропустил в пустую камеру Трошкина.

– А где моя кровать? – спросил Лжедоцент, оглядываясь по сторонам. Чувствовалось, что ему здесь не понравилось.

– Нары! – поправил Славин. – Вы должны занять лучшее место.

– А какое здесь лучшее?

– Я же вам говорил – возле окна! Вот здесь...

– Но тут чьи-то вещи.

– Сбросьте на пол. А хозяин придет, вот тут-то вы ему и скажете: «Канай отсюда, рога поотшибаю...» Помните?

– Помню, – с тоской сказал Трошкин.

Во дворе ударили в рельс.

– Ну все! – заторопился Славин. – Сейчас они вернуться с работы. – Оглядев в последний раз Трошкина, он пригладил ему челку и пошел из камеры, но возле двери остановился. – Если начнут бить – стучите в дверь...

Оставшись один, Трошкин снял чужие вещи с нар и аккуратно сложил на полу. Стянув рубашку, он сел на нары, закрыл глаза и стал шептать, как молитву:

– Ограбление – гоп-стоп. Сидеть в тюрьме – чалиться. Хороший человек – зараза...

В коридоре послышались топот, голоса. Загремел засов, дверь распахнулась, и в камеру ввалились заключенные. И тут Косой и Хмырь застыли: на нарах возле окна, скрестив руки и ноги, неподвижный и величественный, как языческий бог, сидел их великий кормчий – Доцент! Рубашки на нем не было, и все – и руки, и грудь, и спина были синими от наколок.

Трошкин грозно смотрел на жуликов, выискивая среди них знакомые по фотографиям

лица Ермакова и Шереметьева.

От группы отделился хозяин койки, широкоплечий носатый мужик со сказочным именем Али-Баба.

– Эй, ты! Ты зачем мои вещи выбросил?!

– Ты... это... того... – забормотал Трошкин, к ужасу своему обнаружив, что забыл все нужные слова и выражения.

– Чего – «того»? – наступал Али-Баба.

– Не безобразничай, вот чего...

– Это ж Доцент!! – вскричал Косой очень своевременно, а Хмырь кинулся на Али-Бабу. – А ну канай отсюда!..

– Канай! – обрадованно закричал Трошкин, вспомнив нужный термин. – Канай отсюда, падла, паршивец, а то рога поотшибаю! Так, что ни одна шалава, маруха, чувиха не узнает!!
Всю жизнь на лекарства работать будешь, Навуходносор!

– Так бы и сказал... – проворчал Али-Баба и поплелся в угол.

Трошкин слез с нар и небрежно протянул Косому и Хмырю свои вялые пальцы.

– Мальчик, – раздался вдруг сиплый голос, – а вам не кажется, что ваше место у параша?..

Трошкин медленно и нехотя обернулся. Перед ним шагах в десяти стоял здоровенный рябой детина со шрамом через все лицо.

– Это Никола Питерский, – шепотом предупредил Трошкина Хмырь. – Пахан. Вор в авторитете.

Заключенные замерли в напряженном ожидании.

– Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил!! – вдруг завопил Трошкин. Подпрыгнув, он изогнулся, как кот, и двинулся на Николау Питерского...

– Ну ты чего, чего... – забеспокоился Никола, пятясь к двери.

– Р-р-р-р! – свирепо зарычал Трошкин так, как рычал в детском саду, когда изображал волка, и снова подпрыгнул, выкинул вперед два пальца на уровне глаз жертвы. – Р-р-р!

– Помогите! – заорал Никола, его нервы не выдержали, и он отчаянно забарабанил в дверь локтями и пятками. – Спасите! Хулиганы зрения лишают!!

И в ту же секунду распахнулась дверь: за ней стояло все тюремное начальство во главе с Бейсембаевым.

Майор сразу понял расстановку сил...

– Извините... – вежливо сказал он ко всеобщему изумлению жуликов и удалился, осторожно прикрыв за собой дверь.

* * *

В камере ярко горела электрическая лампочка. Заключенные спали. Трошкин сел на своей постели.

– Эй, Косой! – тихо позвал он и потолкал спящего Косого в бок.

– А-а-а! – завопил Косой, просыпаясь и затравленно оглядываясь. Но, увидев вокруг себя родную обстановку, успокоился. – Чего? – недовольно спросил он.

– Спокойно! – грозно предупредил Трошкин. – Куда шлем дел, лишенец? А?

Проснулся и Хмырь. Тоже сел на своей койке.

– Я? – удивился Косой. – Он же у тебя был!

– Да? А тогда куда я его дел?

– А я откуда знаю!

– Пасть разорву!

– Да ты что, Доцент, – вступился за Косого Хмырь. – Откуда ж ему знать, где шлем? Ты его все время в сумке носил – как уходил с сумкой, так и приходил с сумкой. А когда нас взяли, там, оказалось, его и нет.

Трошкин задумался.

– Сам потерял куда-то, – обиженно сказал Косой. – И сразу – Косой. Как чуть что, так Косой, Косой...

– Ты что, не помнишь, что ли? – спросил Трошкина Хмырь.

– В том-то и дело, – озадаченно сказал Трошкин, понимая всю серьезность полученной информации. – В поезде я с полки упал башкой вниз. Вот тут помню, – он постучал по правой стороне головы, – а тут ни черта! – Он постучал по левой.

Косой с интересом посмотрел на ту половину, которая ни черта.

– Побожись! – сказал он.

– Вот век мне воли не видать! – побожился Трошкин. – Как шлем взяли – помню, как в Москву ехали, помню, суд помню, а в середине – как отрезало!

– Так не бывает! – не поверил Хмырь. – Тут помню, там не помню...

– Бывает! – неожиданно поддержал Трошкина Косой. – Я вот тоже раз надрался, проснулся в милиции – ничего не помню! Ну, думаю...

– Да подожди ты! – оборвал его Хмырь. Приблизившись к Трошкину, он умоляюще заговорил: – Послушай, Доцент! Вот ты меня мало знаешь, так у людей спроси – я вор честный. Скажи, где шлем! Мы тебе твою долю всю сохраним – век воли не видать – всю до копеечки!..

– Значит, и вы не знаете... – огорчился Трошкин. – Как же мы его найдем?.. – задумчиво проговорил он.

– И как в Москву приехали, не помнишь? – с любопытством спросил Косой.

– А что в Москве? – заинтересовался Трошкин.

– Поселились в каком-то курятнике. – Косой сел напротив и для убедительности показал руками, какой был курятник.

– Ну а потом?

– Дядя к тебе какой-то приезжал, во дворе вы с ним толковали.

– Чей дядя? – оживился Трошкин.

– Ты говорил: гардеробщиком он в театре Большом...

– А дальше?

– К барыге ездили.

– Куда?

– На бульвар, где машины ходят. – Косой показал, как ходят машины.

– Какой бульвар?

– Адреса не назову, а так помню...

– Слушайте – заткнитесь, пожалуйста! – попросил из другого угла камеры Али-Баба. – Устроили тут ромашку: помню, не помню... Дайте спать!..

«Заканчивается посадка в самолет № 16917, отлетающий рейсом шестьдесят вторым Ашхабад – Москва. Просим отлетающих занять свои места!» – объявлял по радио диктор аэропорта. Трошкин, Славин и Бейсембаев стояли у трапа «Ту-104». Прощались.

– Ну, счастливо оставаться! – Славин протянул майору руку.

– Всего доброго, – улыбнулся Бейсембаеву и Трошкин. Он был уже без парика, в обычном костюме, в своем прежнем трошкинском обличье. – Извините, что напрасно потревожили.

– Это вы извините, – улыбнулся Бейсембаев.

Славин и Трошкин поднялись по трапу последними, и стюардесса закрыла дверь самолета. Трап отъехал.

– ...время нашего полета – четыре часа сорок минут, – объявляла в самолете синеглазая стюардесса. – А сейчас я попрошу всех пристегнуть ремни и не курить!

– А какая разница во времени с московским? – спросил Трошкин у Славина.

– Три часа. – Славин удобнее устроился в кресле и откинул спинку.

– Так, выходит, мы в Москве будем в двенадцать? – обрадовался Трошкин. – Я еще на работу успею.

Шум моторов внезапно прекратился. В проходе снова показалась стюардесса.

– Товарищи, кто здесь Трошкин? – спросила она.

– Мы, – сказал Трошкин.

– Вас просят выйти.

Трошкин и Славин, недоумевая, двинулись следом за стюардессой. Она открыла дверь, и они увидели подъезжающий к самолету автотрап. А на трапе, как памятник на пьедестале, величественно стоял профессор Мальцев в светлой дубленке.

Официантка поставила на столик, за которым сидели Мальцев, Трошкин и Бейсембаев, четыре дымящиеся пиалы. За стеклянными стенами ресторана были видны летное поле, самолеты, поблескивающие на солнце. Все с удовольствием принялись за еду, кроме Трошкина – он отодвинул от себя пиалу, сказал:

– Я дома пообедаю.

Профессор перестал жевать и уставился на Трошкина.

– Следующим рейсом я улетаю! – твердо сказал тот.

– Какая безответственность! – воскликнул Мальцев. – Какое наплевательское отношение к своему делу!

– Мое дело – воспитывать детей, – сдержанно напомнил Трошкин, – а не бегаг с жуликами по всему Советскому Союзу.

Мальцев бросил ложку.

– Меня вызывает полковник, – он повернулся к Бейсембаеву, – и говорит: операцию прекращаем. Почему? – говорю я. – Если эти двое не москвичи и не знают названия улиц, они могут показать их на месте! Устроим им ложный побег, и они помогут нам определить все возможные места нахождения шлема! А он мне говорит: нельзя...

– Правильно, – сказал Трошкин.

Профессор молча царапнул по нему глазами.

– Ладно, думаю, – продолжал он. – Беру нашего вице-президента, отрываю его от работы, едем в ваше министерство. Ну то, се – наконец получаю разрешение. – Профессор вытащил из папки бумагу, потряс ею в воздухе. – Представляете, как все это сложно!

– Представляю, – сказал Бейсембаев. – Я двадцать пять лет работаю в системе и первый раз слышу, чтоб мы сами устраивали побег.

– А шлем, между прочим, тысячу шестьсот лет искали и тоже первый раз нашли!

– А я что? – сдался Бейсембаев. – Приказ есть, я подчиняюсь!

– Я бросаю все дела, беру это разрешение, – продолжал Мальцев, – лечу сюда, хватаю такси, мчусь к вам в Ахбулах, отпускаю такси, бегу в тюрьму, мне говорят: «Они уехали на аэродром». Лечу обратно с преступной скоростью, останавливаю самолет в воздухе, а он говорит: не хочу!

– Не хочу! – подтвердил Трошкин.

– Видите? – с мрачным удовлетворением проговорил Мальцев, впиваясь глазами в Бейсембаева. – Не страшен враг – он может только убить! Не страшен друг – он может только предать. Страшен равнодушный! С его молчаливого согласия происходят и убийство, и предательство!

– И я б на его месте боялся! – вступился за Трошкина Славин. – Они могут разбежаться, своровать, убить...

– Не в этом дело, – сказал Трошкин. – У меня сто детей каждый год, и у каждого мамы, папы, дедушки, бабушки. Меня весь Черемушкинский район знает, а я буду разгуливать с такой рожей да еще в такой компании!

– Кстати, о бабушках, – вдруг спохватился Мальцев. – Где у меня тут был пакетик? – забеспокоился он. – Ну только сейчас я держал в руках такой целлофановый пакетик...

– Вы на нем сидите, – подсказал Бейсембаев.

Мальцев приподнялся, вытащил из-под себя сплюснутый пакет, протянул его Трошкину.

– Бабушка прислала вам пирожков, – сказал он. – Сегодня утром я забегал к вашим.

– Спасибо, – вздохнул Трошкин.

На стене цементного завода в строительной зоне исправительно-трудовой колонии висел лозунг:

...
«ЗАПОМНИ САМ, СКАЖИ ДРУГОМУ,
ЧТО ЧЕСТНЫЙ ТРУД – ДОРОГА К ДОМУ».

А под лозунгом в составе своей бригады трудились Хмырь и Косой, укладывая шлакоблоки в штабеля.

– О! Появился! – сказал вдруг Косой.

Хмырь обернулся: по двору от проходной понуро шел Трошкин-Доцент.

– Ты где был? – подозрительно спросил Хмырь подошедшего Трошкина.

– В больнице.

Хмырь многозначительно посмотрел на Косого.

– Понятно, – сказал он и принялся за свои шлакоблоки.

– Что тебе понятно? – спросил Трошкин.

– Все понятно... Золото со шлема врачу на зубы толкал, вот чего! – выкрикнул Хмырь.

– Не по-воровски поступаешь, Доцент, – упрекнул Косой.

– Ну вот что, – спокойно сказал Трошкин. – В 10.00 у арматурного склада нас будет ждать автоцистерна. Шофер – мой человек. Возле чайной в стоге сена для нас спрятаны деньги и все остальное...

– Бежать?! – спросил Хмырь. – Я не согласный. Поймают.

– И я, – сказал Косой. – Как пить дать застукают!

Лейтенант Славин заглянул в пустую автоцистерну с надписью «Цемент». Там было темно, уныло, пахло сыростью. – Н-да... – сказал он. – Неудобный вагончик.

– Тут недалеко, потерпят, – отозвался снизу шофер.

– Повторите задание! – сказал Славин, спрыгивая на землю.

– Занять позицию, чтоб меня было не заметно. Когда увижу, что трое залезли в цистерну, – выехать, не заправляясь цементом, к Али-Бакану. На развилке возле чайной остановиться и идти пить чай, пока эти не вылезут. А дальше...

– А дальше разбегутся они все к чертовой матери! А кто будет отвечать? Славин!..
Выполняйте!

– Нет, – сказал Хмырь. – Нет, – сказал Косой.

– Ну бывайте! – попрощался Трошкин. – Деньги ваши стали наши... – Зайдя за угол, он облегченно и с наслаждением потянулся, засунул руки в карманы и, насвистывая песенку трех поросят, зашагал к проходной.

Когда работавший Али-Баба случайно оглянулся, он увидел острый зад Косого, мелькнувший за недостроенным домом...

– Эй, постой! – за спиной Трошкина раздался шепот.

Трошкин оглянулся: за ним следом по-пластунски ползли Косой и Хмырь.

Они залегли в канаве за зданием цементного завода. Перед ними метрах в пятидесяти виднелся глухой щитовой барак, крытый шифером. Трошкин посмотрел на часы, спросил:

– А это точно арматурный склад?

– Я ж говорю – это слесарный! – раздраженно зашипел Хмырь. – Арматурный там – за конторой, – показал он большим пальцем назад.

– Во придурок! – возмутился Косой. – Чего свистишь-то? Я сам видел, как отсюда арматуру брали... Во!

Из цемзавода выехала автоцистерна с прицепом и остановилась возле барака. Из машины вылез шофер и скрылся за углом здания.

– Вперед! – скомандовал Трошкин и выскочил из канавы, как из окопа.

Пригибаясь, они подбежали к автоцистерне. Трошкин взобрался по лесенке, откинул крышку люка и протиснулся внутрь. За ним легко попрыгали в цистерну более худые Хмырь и Косой.

А из-за груды железных бочек за беглецами внимательно следил Али-Баба.

Из-за сарая появился шофер. Но это был не тот, с которым говорил Славин, а другой – постарше и поплотнее. Он стукнул сапогом по баллону, неторопливо залез в кабину, включил мотор.

– Пронесло! – перекрестился в темноте цистерны Косой. Машина подъехала под погрузочный люк цемзавода.

– А чего стали? – удивился Косой.

– Проходная, наверное, – прошептал Трошкин, с ужасом глядя на шланг, повисший над люком цистерны.

– Давай! – крикнул шофер, и в цистерну под давлением хлынул цементный раствор. Минуту спустя шофер махнул рукой: – Порядок! Полна коробочка!

Он проехал немного вперед, подвинув под шланг прицеп.

По дороге мчалась автоцистерна с прицепом, а в ней по горло в цементе стояли Трошкин, Хмырь и Косой, упираясь макушками в свод. Когда машину встряхивало на ухабах, тяжелая волна накрывала Хмыря с головой – он был ниже других ростом.

– А говорил: шофер свой человек, порожним пойдет, – упрекнул Хмырь отплеываясь.

Тут машину тряхнуло, и цемент окатил всех троих с головой.

– Как в Турции... – сказал Трошкин.

Машина остановилась. Шофер неторопливо выбрался из кабины и пошел к голубому домику с надписью «Пиво-воды». Трошкин откинул люк и, как танкист, высунул голову. Осмотрелся. – Вылезай! – скомандовал он.

Хмырь и Косой вылезли следом и побежали к лесу.

– Эй! – закричали сзади. – Подожди!..

Беглецы обернулись и застыли: из люка прицепа торчал цементный бюст Али-Бабы!..

Лейтенант Славин в полной форме шел по пояс в цементном растворе, ощупывая багром дно цементной ямы. А по сторонам ямы (на суше) в скорбном и напряженном молчании стояло все тюремное и строительное начальство. Впереди – профессор Мальцев. – Вон там! Там, в углу, проверьте! – истерично требовал он.

– Николай Георгиевич. – Славин остановился и укоризненно посмотрел на профессора. – Ну неужели вы не понимаете, что это бессмысленно? Что же они, по-вашему, сквозь шланг проскочили? У шланга автоцистерны диаметр двенадцать сантиметров, а у этого Али-Бабы один только нос – два метра!

– А где же они тогда? – чуть не плача, спросил Мальцев.

Зашелестели желтые листья кустарника, и на выжженную солнцем поляну вылезли взмыленные и исцарапанные Трошкин, Косой, Хмырь и Али-Баба. Беглецы были в трусах и майках, в руках держали окаменевшую от цемента одежду. – Вон еще сено, – тяжело дыша, показал Косой.

Неподалеку виднелось несколько аккуратных стогов.

– За мной! – скомандовал Трошкин.

– И в этом нет, – сказал Косой. Все поле вокруг них было покрыто разбросанными клочками сена. – А может, ты опять что-то забыл? – сказал Хмырь Трошкину. – Может, не в сене, а еще где?

– Отстань, – отмахнулся Трошкин. – Сюда! – крикнул он. И вся команда с остервенением накинулась на последний оставшийся стог.

– Стой! – раздался вдруг окрик. – Зачем сено воруеть!

На поляне появился старик сторож с берданкой.

– Шухер! Обрыв! – завопил Косой и первым устремился к кустам. Остальные за ним.

– Стой! – раздалось им вслед, и тут же прогремел выстрел.

– Не попал! – радовался Косой, продираясь сквозь кусты.

Хлопнул еще выстрел.

– Попал! – констатировал Трошкин, хватаясь за зад.

Хмырь, Косой и Али-Баба сидели на корточках возле ручья в трусах и в майках, стирали свою одежду. Трошкин чуть поодаль сидел по горло в ручье, кряхтел. – Больно? – с сочувствием спросил Хмырь.

– Не больно, – раздраженно сказал Трошкин. – Жжет...

– Поваренная соль, – констатировал Хмырь и научно объяснил: – Натрий хлор.

– Ай-ай-ай! – зацокал языком Али-Баба. – Какой хороший цемент, не отмывается совсем...

– Ты зачем бежал? – строго спросил Трошкин.

– Все побежали, и я побежал, – объяснил Али-Баба.

– У тебя какой срок был? – спросил Косой.

– Год, – сказал Али-Баба.

– А теперь еще три припаяют, – радостно хихикнул Косой. – Побег. Статья 188-я.

– Ай-ай-ай! – укоризненно зацокал языком Али-Баба. – Нехороший ты человек, Косой. Злой, как собака.

Хмырь вытащил из воды свои окаменевшие брюки, встал.

– Что делать будем, Доцент? – Он показал Трошкину брюки.

– Так побежим! – угрюмо сказал Трошкин.

– Прямо так? – поразился Хмырь. – Голые?

– Да! Прямо так и прямо по шоссе. И прямо в гостиницу. Пусть думают, что мы спортсмены.

– Да ты что, в гостиницу! – испуганно вскричал Хмырь. – Нас же сразу заметут! Можно пока и в канавке переспать!

– Буду я с вами в канаве валяться, – зло сказал Трошкин. – Сказано в гостиницу, значит, в гостиницу!

Он вылез на берег, присел пару раз, разминаясь, потом согнул руки в локтях и затрусил в сторону дороги.

Стрелочник, сидя на табурете, дремал на солнышке возле вверенного ему железнодорожного переезда, когда его разбудил бодрый окрик:

– Открывай дорогу, дядя!

По шоссе к переезду бегом приближались четверо в трусах и майках.

Стрелочник покорно закрутил рукоятку. Шлагбаум поднялся, и мимо гуськом пробежали: толстяк, руки, плечи и даже ноги которого были изукрашены узорами татуировок, черный, как жук, волосатый дядя с длинным носом, тощий парень лет двадцати пяти и лысый мужчина лет сорока.

– Физкультпривет, дядя! Салям алейкум! – крикнул худой малый. И спортсмены, не сбавляя темпа, скрылись за холмом.

Голодные, измученные марафонцы вбежали в маленький белый городок, пересекли площадь у мечети и вошли в подъезд Дома колхозников. В вестибюле Трошкин, кивком указав подчиненным на диван, подтянул трусы, пригладил челку и подошел к дежурному администратору – молодой женщине, сидевшей за деревянным барьером.

– Мы марафонцы, – задыхаясь, выговорил он.

– Сколько вас? – спросила дежурная, пытаясь прочитать надписи на трошкинской груди.

– Четверо. Один лишний.

– Всем места хватит, – сказала дежурная.

– Вы из какого общества, ребята? – Перед замершими от страха Хмырем, Косым и Али-Бабой остановился скучающий командированный.

– «Трудовые резервы», – сообщил Косой.

– А «Динамо» бежит?

– Все бегут, – пробурчал Хмырь.

– За мной, – позвал Трошкин. И спортсмены организованно затрусили на второй этаж.

Команда подошла к двери, Косой присел на корточки, заглянул в замочную скважину, потом привалился спиной к правому косяку, а в левый уперся ногой и сильно потянул дверь на себя. Хмырь толкнул дверь, и она распахнулась.

– Ключ же есть! – возмутился Трошкин.

– Привычка, – сказал Хмырь.

«Марафонцы», голодные и обессиленные, рухнули на кровати.

– Жрать охота, – простонал Косой.

– Очень охота, – поддержал Али-Баба. – А у нас в тюрьме ужин сейчас... макароны...

– Вот что, – приказал Трошкин. – Отсюда ни шагу, понятно? Я сейчас вернусь! – Он вышел в коридор. – Товарищ, – робко попросил он сидящего возле дежурной командированного. – Вы не могли бы мне на несколько минут одолжить какие-нибудь брюки? А то наши вещи еще не подвезли...

– Может, козла забьем? – оживился командированный вставая.

– Потом, – пообещал Трошкин.

На улице Трошкин вошел в телефонную будку, снял трубку и набрал 02. – Милиция, – отозвались с другого конца.

– Можно лейтенанта Славина?

– У нас такого нет.

– Как нет?

– Так. Нет и не было.

– Я – Доцент! – закричал Трошкин.

– Поздравляем!

– Вас разве не предупредили?

– О чем?

Евгений Иванович посмотрел на бестолковую телефонную трубку и положил ее на рычаг. Медленно вышел из автоматной будки.

– А какой это город? – спросил он у пионера.

– Новокасимск, – сказал пионер, с восхищением разглядывая татуированного босого дядю в узких джинсах.

– А Али-Бакан далеко?

– Тридцать километров.

Трошкин задумался.

Детский сад в Новокасимске был такой же, как в Москве, – двухэтажный, белый, штукатуренный. Трошкин пригладил набок челку и пошел в подъезд.

– Здравствуйте! – вежливо поздоровался он, войдя в кабинет заведующей.

– Здравствуйте, здравствуйте... – отозвалась заведующая, глядя на робкого посетителя. – Садитесь.

– С вашего разрешения, я постою. – Трошкин хотел скомпенсировать свою внешность хорошими манерами. – Понимаете, в чем дело... – начал Трошкин. – Я из Москвы. Ваш коллега. Веду 83-м детсадом.

Она понимающе покивала.

– Нас четверо, – продолжал Трошкин.

– И все заведующие?

– Вроде... – смутился он.

– Ну-ну...

– И вот, понимаете... в цистерне, где мы ехали, случайно оказался цемент, и наша верхняя одежда пришла в негодность.

– Бывает, – сказала заведующая.

– Мне очень неловко... – У Трошкина от унижения выступили пятна на лице. – Не могли бы вы мне одолжить на два дня 19 рублей 40 копеек?

– А хватит на четверых-то? – весело спросила заведующая.

– Хватит! – серьезно сказал Трошкин. Заведующая встала и взяла Трошкина за руку.

– Пошли! – сказала она и повела его за собой, высокая, статная и решительная, как боевой генерал.

Они вышли из детского сада к одноэтажному кирпичному зданию с забитыми окнами.

Заведующая отворила дверь, и они оказались в небольшой комнате, совершенно пустой, если не считать старой тумбочки.

– Здесь у нас будет игротека, – сказала она. – А вот здесь... – она отворила дверь в смежную комнату, – здесь у нас будет спортзал.

Где будет спортзал, Трошкин не увидел: комната до потолка была забита ржавыми радиаторами парового отопления.

– Так что вот вы с вашими заведующими очистите эту комнату от радиаторов и сложите их там, – она указала на навес во дворе. – Я вам за это плачу 20 рублей. Идет?

Трошкин задумался, глядя на бесконечные радиаторы.

– Идет, – сказал он. – Только знаете что: работать мы будем ночью. – Он подошел к тумбочке. – Положите наши 20 рублей вот сюда, в ящик. А на дверь повесьте замок. – Он показал на другой конец здания. – Когда все вынесем, эта дверь освободится. Мы войдем и заберем нашу зарплату.

Заведующая помолчала, обдумывая предложение.

– Хорошо, – наконец сказала она. – Только учтите, майн либер коллега: замок будет крепкий!

Командированный сидел по одну сторону стола, а Хмырь по другую. Между ними лежала шахматная доска, играющие сосредоточенно глядели на поле битвы. Хмырь был целиком и полностью одет в одежду командированного: костюм, рубашка с галстуком, ботинки. А командированный сидел раздетый – в трусах и в майке. Но на голове его была шляпа. Али-Баба и Косой «болели» за спиной товарища. Али-Баба молчал, он ничего не понимал в шахматах. Косой тоже не понимал, но поминутно подсказывал:

– Ходи лошадью... лошадью ходи, дурак!

– Отстань. – Хмырь переставил ферзя и объявил: – Мат!

Али-Баба, как бы иллюстрируя сказанное, снял с головы командированного шляпу и плавно перенес ее на голову Хмыря.

– Все! – Хмырь встал. Он был при полном параде, хотя все ему было заметно велико: рукава свисали ниже кистей, а шляпа сползала на глаза.

– Не все! – запротестовал командированный. Он вытащил из чемодана электрическую бритву и положил на стол. – Против бритвы – пиджак и брюки, – потребовал он.

– Один пиджак! – отозвался Косой.

Хмырь в торговле не участвовал, он был уверен в своих силах. Сел за шахматы.

Некоторое время играли молча.

– А вот так? – пошел конем командированный.

Хмырь задумался.

– Лошадью ходи, – нервно посоветовал Косой.

– Отвались! – раздраженно сказал Хмырь.

– Лошадью ходи, век воли не видать!.. А мы – вот так! – заорал Косой и, не выдержав, передвинул пешку.

– Пошел? – вопросительно посмотрел командированный.

– Ну пошел, пошел... – с раздражением сказал Хмырь.

– Мат! – торжественно объявил его противник.

Хмырь посмотрел на доску, убеждаясь в проигрыше, перевел глаза на недоуменную физиономию Косого и, не выдержав этого зрелища, сгреб с доски фигуры и швырнул их в советчика.

– Ты что делаешь? – У Косого от обиды и гнева задрожали губы. Он не терпел унижения при посторонних. – Ты кого бьешь?..

Он схватил шахматную доску и треснул Хмыря по лысине.

– Товарищи! Товарищи! – заметался командированный. – Прекратите! Вы что, с ума сошли?

– Отставить! – вдруг раздался резкий, повелительный окрик.

В дверях стоял Трошкин. Одним прыжком оказавшись на середине комнаты, он схватил Хмыря и понес из номера, как щенка.

Косой и Али-Баба последовали за ними. Проигравшийся и перепуганный командированный снова остался в одиночестве.

– Раздевайся сейчас же! Верни вещи! – с тихой яростью приказал Хмырю Трошкин.

– А это не видел? – Хмырь выкинул к носу Трошкина фигу: ему не хотелось расставаться с честно выигранными вещами.

Трошкин не выдержал и, размахнувшись, с наслаждением дал Хмырю по уху. Легкий Хмырь отлетел в противоположный угол комнаты. Туда же подбежал Косой и, воспользовавшись лежащим положением товарища, добавил ему от себя лично ногой в бок.

– Вот тебе... – И в следующее мгновение сам отлетел в другой угол: Трошкин, не балуя разнообразием, съездил по уху и ему.

Али-Баба, полагая, что и его будут бить, присел на корточки и замахал над головой руками.

– Снимай! – Трошкин поставил Хмыря на ноги. Тот не заставил себя ждать, стал судорожно стягивать все выигранное имущество.

Трошкин сгреб вещи в охапку и пошел к командированному.

– Вот! – Он бросил все ему на постель, снял с себя джинсы и приобщи к возвращаемой одежде. – Стыдно, товарищ!

И вышел, хлопнув дверью.

Хмырь и Али-Баба лежали на постелях лицом к стене. А Косой стоял и смотрел в окно.

Трошкин вошел в номер, прошелся по комнате и, немного успокоившись, сказал:

– Ну вот что, если мы не хотим снова за решетку, если хотим до шлема добраться – с сегодняшнего дня склоки прекратить. Второе: не играть, не пить без меня, не воровать, жаргон и клички отставить, обращаться друг к другу по именам, даже когда мы одни. Тебя как зовут? – Он обернулся к Хмырю.

– Гарик... Гаврила Петрович.

– Тебя?

– Федя... – сказал Косой.

– Тебя?

– Али-Баба.

– Я кому сказал, клички отставить!

– Это фамилия! – обиделся Али-Баба. – А имя – Василий Алибабаевич, Вася.

– Как верблюда, – отозвался Косой.

– А меня... Александр Александрович. Все ясно? – спросил Трошкин.

– Ясно... – нестройным хором отозвались Федор, Гаврила Петрович и Василий Алибабаевич.

Трошкин обвел их усталым взглядом.

– Как стемнеет, кассу будем брать, – объявил он.

– И он пойдет? – Косой кивнул на Али-Бабу.

– И он...

– Так он же на этом скачке расколется, падла, при первом шухере! – скандально закричал Косой.

Али-Баба насупился, но промолчал.

– Пойди-ка сюда, Федя. – Трошкин поманил Косого пальцем. – Вот тебе бумага. – Он подвинул листок бумаги в линейку, лежащий на столе, чернила, ручку с пером. – Пиши.

Трошкин встал из-за стола и, шагая из угла в угол, стал диктовать:

– Падла... поставь тире... нехороший человек. Раскалываться – предавать, сознаваться.

Шухер – опасность. Скачок – ограбление... Записал?

– Записал, – сказал Косой.

– А теперь, Федя, повтори Васе то, что ты ему сказал, на гражданском языке.

– Хе-хе, – заржал Косой и, заглядывая в листок, как в шпаргалку, медленно перевел: – «Так этот нехороший человек... предаст нас при первой же опасности».

Ночью на задворках детского сада трудилась «команда», освобождая помещение будущего спортзала. Работали по двое: Хмырь в паре с Трошкиным, а Косой с Али-Бабой. Производительность была неодинаковая: гора из батарей у первой пары была вдвое выше, чем у второй.

– Семьдесят первая. – Хмырь опустил очередную секцию.

– Сорок шестая... – так же шепотом отсчитал у себя Косой.

– Не сорок шестая, а тридцать вторая! – прошипел Хмырь, державший под контролем работу товарищей. – Филонишь, гад!

– Александр Александрович! – громким шепотом позвал Косой. – А Гаврила Петрович по фене ругается!

– Отставить разговоры! – приказал Трошкин и вдруг заорал на весь город Новокасимск: – А-а!! Ой, нога, нога!!

– Тише ты! – Хмырь в темноте зажал ему рот.

– Этот Василий Алибабаевич... – простонал Трошкин, – этот нехороший человек... на ногу мне батареею сбросил, падла!

У двери лежала последняя батарея, ее оттащили в сторону. Хмырь потянул дверь, она легко поддавалась. Все вошли в игротеку. – Здесь! – простонал Трошкин, указывая на тумбочку.

Хмырь присел на корточки и потянул на себя ящичек.

Косой нервно чиркал спичкой. Дрожащее пламя осветило пачку трехрублевок, рядом лежала брошюра «Алкоголизм и семья»...

Наступило утро. Али-Баба и два разбойника мирно похрапывали на своих постелях.

Трошкин вытащил из-под подушки честно сворованные деньги, вышел из номера и заковылял вниз по лестнице.

– Товарищ марафонец, – обратилась к нему дежурная, – вас просили позвонить по этому телефону. – Она протянула ему записку.

– Ну где же он? – нетерпеливо спрашивал профессор Мальцев Славина, бегая по кабинету новокасимской милиции. – Может, они его убили?.. – В восемь тридцать вышел из гостиницы, в девять ноль-ноль приобрел в универмаге четыре тренировочных костюма. В девять пятнадцать переоделся в общественном туалете. В данный момент очень медленной скоростью направляется к нам...

Хмырь нервно шагал по номеру из угла в угол. – За шмотками, говоришь, пошел? – сердито спросил он, останавливаясь перед лежащим в постели Косым.

– Ага, – зевнул Косой. – Жрать охота, – пожаловался он.

– Да? – Хмырь снова забегал по комнате. – А если он вовсе ушел? А если он вовсе не вернется, а?

За окном послышалась далекая трель милицейского свистка, Хмырь вздрогнул, на цыпочках подбежав к своей кровати, юркнул под одеяло.

– Ай-яй-яй! – вдруг зацокал языком на своей кровати Али-Баба. – Тьфу!

– Что плюешься, Вася? – спросил Косой.

– Шакал я паршивый! У детей деньги отнял, детский сад ограбил!

– Ишь какой культурный нашелся, – сказал Косой. – А когда ты у себя там на колонке бензин ослиной мочой разбавлял, не был паршивым?

– То бензин, а то дети! – Али-Баба вздохнул, встал и пошел.

– Ты куда, Вася? – забеспокоился Косой.

– В тюрьму. – Али-Баба снова вздохнул и вышел из номера.

– Продаст! Век воли не видать, продаст! – сообщил из-под одеяла Хмырь.

Косой спрыгнул с кровати, подбежал к двери и высунулся в коридор.

– Вась, а Вась! – тихонько позвал он удаляющегося по ковровой дорожке дезертира.

– Ну что? – Али-Баба нехотя остановился.

– У тебя какой срок был?

– Год. И три за побег... Четыре, а что?

– А теперь еще шесть дадут! – ласково пообещал Косой. – Статья 89-я, кража со взломом. Иди-иди, Вася!..

Али-Баба подумал, подумал... Потом горестно поцокал языком и пошел обратно в номер.

Отворилась дверь, и в кабинет, прихрамывая, вошел Трошкин. Он был небритый и усталый, под глазами лежали глубокие тени, синий тренировочный костюм был ему тесен. Мальцев посмотрел на вошедшего, шагнул к нему, порывисто обнял:

– Евгений Иваныч, родной, а я думал, вас нет в живых.

– Ну, чего там... – Трошкин похлопал профессора по спине.

Славин тоже пожал руку Трошкину.

– Простите, Николай Георгиевич, – сказал он Мальцеву. – Времени у нас в обрез. Садитесь, Евгений Иваныч!

– Не хочу, – отказался Трошкин.

– Вот! – Лейтенант протянул Трошкину ведомость. – Распишитесь: деньги на четверых, суточные и квартирные. Одежда. – Он показал на стул, где лежали пальто, сапоги, ушанки. Сверху лежала профессорская дубленка.

– Это вам. – Мальцев похлопал по ней ладошкой.

Трошкин посмотрел, но ничего не сказал.

– А почему четыре? – обеспокоенно спросил он. – Что же, мне и этого Василия Алибабаевича с собой водить?

– Придется. Если его сейчас арестовать, у тех двоих будет лишний повод для подозрений. В Москве будете жить по адресу: 7-й Строительный переулок, дом 8.

– Квартира? – уточнил Трошкин.

– Выбирайте любую – этот дом подготовлен к сносу. Жильцы выселены.

– Да ведь там не топят, наверное! – забеспокоился Мальцев.

– Не топят, – согласился лейтенант, – и света нет.

– Вот видите. А может быть, они останутся на даче? У меня под Москвой зимняя дача, – предложил Мальцев.

– Спасибо, – отказался Трошкин. – Только на нейтральной территории мне будет спокойнее.

Он расписался в ведомости, положил деньги в карман.

– Поезд отходит в 18.30 с городского вокзала, – объяснил Славин.

– А билеты? – спросил Трошкин.

– Видите ли, в чем дело... – Славин слегка замялся. – Тут есть одна тонкость... У вашего двойника странная привычка: он никогда не пользуется самолетами, не садится в поезд – он передвигается исключительно в ящиках под вагонами. И об этом знает воровской мир...

– А может, у него еще есть какие-нибудь привычки, о которых вы забыли мне сообщить и которые знает весь воровской мир? – поинтересовался Трошкин.

– А знаете, – обрадованно сказал Мальцев, – это не так уж плохо! В бытность свою беспризорным я всю страну исколесил под вагонами! Я ведь из беспризорных... Это было прекрасное время!

Поезд шел, равнодушно стуча колесами, подрагивая на стыках рельсов. В купе международного вагона Славин и Мальцев пили чай с лимоном, за окном тянулись заснеженные поля, а под вагонами в аккумуляторных ящиках тряслись Хмырь, Косой, Али-Баба и Трошкин. Стараясь перекричать грохот колес, Косой пел:

– Я-Я-лта, где растет голубой виноград!..

По зеркальной поверхности замерзшего пруда под музыку носились на коньках дети. Сквозь разбитое стекло старого дома, покинутого жильцами и огороженного забором, сверху, с четвертого этажа, на каток смотрел Али-Баба.

По комнате гулял ветер, приподнимая обрывки старых газет. В одном углу валялся старый комод с поломанными ящиками, а в другом – на полу, скрестив ноги, сидели Хмырь и Косой. Хмырь был в длинном, не по росту черном суконном пальто, а Косой – в светлой профессорской дубленке, порядком измазанной мазутом. Оба курили и с брезгливым неодобрением глядели на Трошкина, который посреди комнаты делал утреннюю гимнастику.

– Раз-два, – весело подбадривал себя Трошкин, – ручками похлопаем, раз-два, ножками потопаем!

– Во дает! – тихо прокомментировал Косой. – Видно, он здорово башкой треснулся!

Трошкин покосился на «приятелей», запел:

– Сколько я зарезал, сколько перерезал... – и высоко, как спортсмен, приподнимая колени, выбежал из комнаты.

Трошкин вбежал на кухню. Из крана свисали две тоненькие прозрачные сосульки. На кухне стояли отслужившие свое столы, стены были когда-то покрыты масляной краской, теперь вздулись пузырями. В углу валялся ржавый примус. Трошкин подобрал его и принес в комнату.

– На! – протянул он примус Али-Бабе. – Вот тебе два рубля! – Он достал деньги. – Купишь картошки, масла. Пошли!

Возле забора стояло такси с зеленым огоньком. – Эй, шеф! – негромко окликнул Косой, выглядывая из-за забора. – Свободен?

Шеф кивнул. Это был Славин.

Такси ехало по Бульварному кольцу. Рядом с шофером сидел Косой, на заднем сиденье – Хмырь и Трошкин. – Этот? – спросил шофер у Косого. – Вон бульвар, вот деревья, вот серый дом.

– Ну человек! – возмутился Косой. – Ты что, глухой, что ли?.. Тебе же сказали: дерево там такое... – Косой раскинул руки с растопыренными пальцами, изображая дерево.

– Елка, что ли? – не понял Славин.

– Сам ты елка! – разозлился Косой. – Тебе говорят: во! – Косой снова растопырил пальцы.

– Да говори ты толком! – закричал на Косого Хмырь. – Александр Александрович, – повернулся он к Трошкину, – может, сам вспомнишь, а то уже восемь рублей наездили... – Хмырь хотел что-то добавить, но машина в этот момент прошла мимо милиционера-регулирующего, и он нырнул под сиденье.

– Пруд там был? – спросил Славин.

– Не было. Лужи были, – отрезал Косой.

– Может, памятник? – подсказал Трошкин.

– Памятник был.

– Чей памятник? – спросил Славин.

– А я знаю? Мужик какой-то.

– С бородой?

– Не.

– С бакенбардами?

– Да не помню я! – заорал Косой. – В пиджаке.

– Сидит?

– Кто? – не понял Косой.

Славин уже потерял всякое терпение и выразительно посмотрел на Трошкина, выражая ему полное сочувствие.

– Ну мужик этот! – заорал уже Славин.

– Во деревня! – снисходительно сказал Косой. – Ну ты даешь! Кто ж его сажать будет? Он же памятник!

Славин остановил машину.
– Отдохнем немножко, – предложил он.
Все замолчали, настроение было удрученное.
– Может, Сиреневый бульвар? – спросил Трошкин у Славина.
– Нет там никакого памятника, – устало сказал Славин.
– А вот там за углом театр Маяковского, – неожиданно сообщил Хмырь.
– Не было там никакого театра, – возразил Косой.
– Это я так... Мы с женой в 59-м году приезжали в отпуск, все театры обошли, – объяснил Хмырь.
– А где она, жена? – спросил Трошкин.
– Нету.
– Умерла?
– Не-а. Это я умер. – Хмырь застучал пальцами по спинке сиденья. – А чего мы стоим? – вдруг спохватился он. – Чего деньгами швыряемся? Поехали!
– Куда? – спросил Славин.
– Домой, – вздохнул Трошкин.
Машина остановилась у забора напротив катка. – Восемь семьдесят, – сказал Славин.
Трошкин полез в карман.
– Карту купи, лапоть! – на прощание посоветовал Славину Косой.
– Вот билеты. – Славин незаметно протянул Трошкину билеты. – Проверим вариант с гардеробщиком...
– Ладно... Вот что, Володя, узнайте мне, пожалуйста, адрес жены Шереметьева: где она и что...
– Во! – раздался вдруг торжествующий вопль Косого. – Нашел! Во!
Трошкин и Славин подбежали к орущему Косому.
– Вон мужик в пиджаке. – Он выбросил палец в сторону памятника Грибоедову. – А вон оно! Дерево! – Напротив в витрине цветочного магазина стояла пальма в кадке. – А ты говорил: елка! – передразнил Косой Славина.
Дверь отворил лохматый парень в очках. – Вам кого? – спросил парень.
– Вы меня не узнаете? – робко спросил Трошкин. – Я был у вас месяц назад.
– У кого? – не понял парень. – У меня?
– А может, еще кто-нибудь дома есть, кто бы мог меня узнать? – с надеждой спросил Трошкин.
– Никого нет. – Парень пожал плечами.
– Ну простите, – извинился Евгений Иванович.
– Пожалуйста!
Парень закрыл дверь, а Трошкин позвонил в следующую квартиру.
Открыла розовощекая молодая женщина в ситцевом халате.
– Вы меня узнаете? – сразу спросил Трошкин, приобретя уже некоторый навык.
– Узнаю.
– Здравствуйте! – обрадовался Трошкин.
– Сейчас, – неопределенно ответила молодая женщина и закрыла дверь.
Трошкин заволновался, полагая, что сейчас снова откроется дверь и ему протянут злополучный шлем.
Дверь отворилась, и женщина молча хлестнула веником Трошкина по лицу.
– Вот тебе, гадина! – сказала она и захлопнула дверь.
Трошкин позвонил еще и отскочил к лестнице, чтобы его не достали веником. Но бить больше его не стали.
Из двери вышел детина с широкими плечами и короткой шеей.
– Послушай, Доцент! – сказал детина, надвигаясь на Трошкина. – Я тебе говорил, что я завязал? Говорил. Я тебе говорил: не ходи? Говорил. Я тебе говорил: с лестницы спущу?
Трошкин со страхом глядел на надвигающегося человека.

– Говорил?

– Говорил, – растерянно подтвердил Трошкин.

– Ну вот и не обижайся!..

И заведующий детсадом № 83 ласточкой вылетел из подъезда и растянулся на тротуаре.

– Я-л-та! Там живет голубой цыган... – пел Али-Баба, по-своему запомнивший песню Косого. – Я-л-та, ля-ля-ля-ля паровоз... Он расхаживал по покинутому дому и искал, чем можно поживиться.

Подходящего было мало: разбитый репродуктор, ржавый детский горшок и непонятно откуда взявшийся гипсовый пионер с трубой.

– Я-л-та... – Али-Баба взял под мышку пионера и понес. Он вышел на лестничную клетку и тут столкнулся со своими.

– Что это у тебя? – спросил Трошкин, постучав пальцем по гипсовому пионеру. Нос и щека у Трошкина были оцарапаны.

– Надо, – загадочно ответил Али-Баба и зашагал навверх. – Ноги вытирайте, пожалуйста! – приказал он, когда они подошли к дверям «своей» квартиры. У порога лежал половичок из разноцветных лоскутов. Али-Баба первым вытер ноги, показывая пример, и прошел.

Трошкин, Косой и Хмырь тоже вытерли ноги, прошли по коридору, открыли дверь и – остолебнели...

Комнату было не узнать. Это была прекрасная комната! Дыра в окне забита старым одеялом, на подоконнике – маленький колючий кактус в разбитом горшке, на стене – старые остановившиеся часы, под часами – пианино без крышки, на пианино – гипсовый пионер с трубой.

Посреди комнаты лежал полосатый половик, на половике стоял круглый стол, на столе – две ложки, три вилки, одна тарелка и таз с дымящейся горячей картошкой. Здесь же стоял чайник, а на нем толстая кукла-баба с грязным ватным подолом. А надо всей этой роскошью царил портрет красивой японки в купальнике, вырванный из календаря.

– Кушать подано, – сдержанно объявил Али-Баба, пытаясь скрыть внутреннее ликование. – Садитесь жрать, пожалуйста! – галантно пригласил он.

Трошкин снял пальто, повесил его у двери и, потирая руки, сел к столу.

– Картошечка! – радостно отметил Косой, хватая руками картошку и обжигаясь. – А еще вкусно, если ее в золе испечь. Мы в детдоме, когда в поход ходили... костер разожжем, побросаем ее туда...

– А вот у меня на фронте был случай, – вспомнил вдруг Трошкин, – когда мы Венгрию отбили...

– Во заливает! – покрутил головой Косой. – На фронте... Тебя, наверное, сегодня как с лестницы башкой скинули, так у тебя и вторая половина отказала.

– Хе-хе, – неловко хихикнул Трошкин, понимая свою тактическую оплошность. – Да, действительно.

С улицы слышались голоса.

Хмырь подошел к окну и стал смотреть. Все тоже подошли к окну.

Посреди пустого катка стояла громадная пушистая елка, и двое рабочих на стремянках окутывали ее гирляндами из лампочек.

– В лесу родилась елочка... В лесу она росла... – пропел Косой.

Трошкин посмотрел на него, отошел к пианино, взял несколько аккордов. Инструмент ответил неверными дребезжащими звуками.

– Давайте вместе, – сказал Трошкин и запел:

В лесу родилась елочка,

В лесу она росла...

Зимой и летом стройная,

Зеленая была, –

подхватил Косой. – Бум-ба, бум-бум-ба... – загудел басом Али-Баба вдохновенно.

А Хмырь не пел. Воспользовавшись тем, что на него не смотрят, он подкрался к трошкинскому пальто, запустил руку в карман, вытащил деньги и, приподняв половицу, спрятал их туда.

– И вот она нарядная на Новый год пришла... И много-много радости детишкам принесла!

– Бум-бум-бум!

– Сан Саныч... – Али-Баба решил использовать хорошее настроение начальства. – Давай червонец, пожалуйста. Газовую керосинку буду покупать. Примус очень худой – пожар может быть.

– Есть выдать червонец! – весело отозвался Трошкин. Он шагнул к пальто, сунул руку в карман – карман был пуст.

Трошкин обыскал все карманы – денег не было!

– Нету... – растерянно сообщил он. – Были, а теперь нет.

– Потерял? – участливо спросил Хмырь, глядя на Трошкина невинными голубыми глазами. – Выронил, наверно...

– Да не... – сказал Косой. – Это таксист спер. Точно, таксист. Мне сразу его рожа не понравилась.

– Вот те на... – Огорченный Трошкин сел на диван и почесал себя по парикю. – Что ж делать теперь?

– Керосинку очень надо покупать, – напомнил Али-Баба. – Примус с очень большой дыркой.

– Отвались! – прикрикнул на Али-Бабу Хмырь. – На дело, Доцент, идти надо, – сказал он Трошкину. – Когда еще мы каску найдем.

– Воровать хотите? – мрачно спросил Трошкин.

– Ай-яй-яй! – зацокал языком Али-Баба. – Можно дырку запаять, – предложил он выход из создавшегося положения. Воровать Али-Бабе совсем не хотелось.

– Заткнись, – отмахнулся Хмырь. – Вот что. Ты, Сан Саныч, отдыхай, а мы с Косым на вокзальчик сбегает. Пора и нам на тебя поработать. Да, Федя? – повернулся он к Косому.

– Точно, – согласился Косой. – Только зачем на вокзал? Вот тут проходной двор... Гоп-стоп, и любая сумочка наша. А, Доцент?

Трошкин с ненавистью смотрел на своих «друзей».

– Все вместе пойдем, – наконец проговорил он.

Из подъезда трошкинского дома вышла трошкинская бабушка с авоськой в руке. А из-за трансформаторной будки за ней следили ее внук и три бандита.

Бабушка скрылась в арке ворот.

– Объясняю дислокацию, – распорядился Трошкин. – На шухере: Василий Алибабаевич – во дворе, Гаврила Петрович – в подъезде. Выполняйте! – приказал он.

Возле своей двери на лестничной площадке Трошкин извлек из кармана драные варежки, надел их на руки, потом достал ключ от собственных дверей, отомкнул замок и проник в собственную квартиру.

– Стой здесь, – приказал Трошкин Косому. – Ничего не трогать. Отпечатки пальцев оставишь...

Трошкин прошел в свою комнату, сел к письменному столу, открыл ящик и вынул деньги. Посмотрел, подумал, бросил обратно в ящик пять рублей и сунул деньги в карман.

Пора было вставать и возвращаться в свою доцентовскую жизнь. Трошкин медлил, сидел, устало свесив руки, смотрел перед собой. Над письменным столом висели детские фотографии – штук сорок или пятьдесят. С них глядели на Трошкина смеющиеся детские лица – отчаянно хохочущие и лукаво улыбающиеся, за каждой улыбкой вставал характер. Трошкин коллекционировал детский смех.

На каждой фотокарточке аккуратно были написаны имя и фамилия обладателя и год. На верхних фотокарточках, где стоял 47-й год, дети были худенькие, бедно одетые, и сами

карточки выцветшие, с желтыми пятнами. Чем позже были датированы карточки, тем заметнее менялись их качество, облик и одежда детей.

Косой тем временем скучал в столовой, поглядывая вокруг безо всякого выражения. Поживиться было действительно нечем: в столовой стоял стол, сервант с посудой и диван. Косой приостановился возле дивана и от нечего делать приподнял ногой сиденье дивана. Он сделал это небрежно, ни на что не рассчитывая, и вдруг замер, пораженный. Под сиденьем сверху лежал костюм с отливом!

Во дворе на лавочке, нахохлившись как воробей, сидел Али-Баба. Перед ним краснощекая дворничиха расчищала дорожку. – Ай-я-яй! – горестно зацокал Али-Баба и покрутил головой. – Тьфу! – Он в сердцах плюнул на снег, как бы подытоживая свое внутреннее состояние.

Дворничиха разогнулась и посмотрела на горестно согнувшегося, удрученного человека.

– Чего вздыхаешь? – посочувствовала она.

– Шакал я паршивый, – отозвался Али-Баба скорее себе, своим мыслям, чем дворничихе. – Все ворую, ворую...

– Что ж ты ворешь? – удивилась дворничиха.

– А! – Али-Баба махнул рукой. – На шухере здесь сижую.

Из подъезда тем временем вышли Трошкин, Косой и Хмырь, тихонько свистнули Али-Бабе.

– О! Украла уже! – отметил Али-Баба. – Ну, я пошел, – попрощался он с дворничихой.

Дворничиха некоторое время озадаченно смотрела вслед удаляющейся четверке, потом крикнула:

– Эй!

– Все! – сказал Косой. – Кина не будет, электричество кончилось! – И первый бросился бежать.

– Стой! – заорала дворничиха и, сунув в рот свисток на веревочке, засвистела на весь свет.

Четверо грабителей с завидной скоростью неслись посреди улицы. За ними почти по пятам бежала дворничиха. – Держи воров! – кричала она.

Жулики свернули за угол, и Трошкин остановился как вкопанный. Навстречу ему шли Елена Николаевна и следом за ней, как утята за мамой-уткой, старшая группа детского сада № 83.

Косой, Хмырь и Али-Баба обогнули колонну и помчались дальше, а Трошкин стоял и смотрел во все глаза и не мог двинуться с места.

– Евгений Иваныч! – ахнула Елена Николаевна.

– Здравствуйте, Евгений Иваныч! – восторженно и нестройно заорали дети.

Евгений Иванович понял, что надо сворачивать, но на него уже набегала дворничиха. Выхода не было: заведующий детским садом Евгений Иванович Трошкин разбежался и сиганул через высокий забор.

Ночь. Мягко шурша щетками по пустому катку, двигался снегоочиститель, оставляя позади себя зеркальную полосу. И в этой матово поблескивающей поверхности, отражаясь, то вспыхивали, то гасли разноцветные огни – проверяли освещение елки. Четверо лежали поперек широкой тахты, подставив под ноги табуретки. Спали в пальто и шапках, укрывшись половиком – тем, что днем красовался на полу.

Хмырь не спал. Он лежал с краю, смотрел в потолок остановившимися глазами. На потолок время от времени ложились причудливые тени от мигающей за окном елки.

– Доцент, а Доцент, – тихонько позвал Хмырь лежащего рядом Трошкина. – Сан Саныч! – Он потербил его за плечо.

– А-а-а! – заорал Трошкин, просыпаясь. «Воровская жизнь» давала себя знать.

– Маскироваться надо, – сказал Хмырь.

– Что? – не понял Трошкин.

- Засекли нас. Теперь так на улицу не покажешься. Заметут.
- Ну? – спросил со сна Трошкин, стараясь не проснуться окончательно.
- Вот я и говорю: маскироваться надо.
- Давай, – согласился Трошкин и заснул.

Стоял морозный солнечный день. Гремела музыка на ярмарке в Лужниках. Из шатра с вывеской «Хозтовары» высунулась голова Али-Бабы. Али-Баба огляделся по сторонам и перебежал в шатер с вывеской «Женская обувь». К груди он прижимал новенький керогаз.

– Три пары сапог для женщины по одиннадцать пятьдесят, – обратился он к продавщице в форме Снегурочки. – Сорок, сорок два, сорок четыре.

– Ого! – удивилась Снегурочка. Она сняла с полки две коробки, поставила перед Али-Бабой. – Вот сорок, вот сорок два.

– А сорок четыре?

– Только такие. – Она поставила на прилавок огромные лакированные туфли на высоких шпильках.

Вечер. Театральная площадь. Из троллейбуса вышли три женщины – толстая курносая в цветастом платке, низенькая старушка, по-монашески обвязанная поверх фетровой шапки темной косынкой, и девушка в лохматой синтетической шапке, в дубленке, из-под которой виднелись кривые жилистые ноги в чулочках сеточкой и лакированных туфлях на шпильках. – Брр-рр, – сказала девушка басом и заскакала, пытаясь согреться. – И как это только бабы без штанов в одних чулках ходят?

– Привычка, – сказала старуха.

Это были Трошкин, Хмырь и Косой.

На контроле три подруги предъявили билеты и оказались в вестибюле Большого театра. За деревянным барьером ловко работал гардеробщик – худой, с нервным лицом и торчащими ушами.

– Этот! – тихо сказал Хмырь.

Трошкин остановился против него, выжидая, стараясь поймать его взгляд. Гардеробщик почувствовал взгляд Трошкина, посмотрел на него. Трошкин кивнул ему.

Гардеробщик тоже едва заметно кивнул, что-то шепнул своему напарнику и поманил Трошкина за деревянный барьерчик.

– Узнаешь? – Трошкин приподнял косынку. Они разговаривали в глубине гардероба, забившись в зимние пальто и шубы.

Гардеробщик смотрел на Трошкина. Лицо его было неподвижно и, казалось, ничего не выражало.

– Узнаешь? – еще раз спросил Трошкин, робея.

Гардеробщик снова очень долго молчал, потом кивнул.

– Завтра у фонтана, против театра, в пять! – тихо сказал он.

– Ну? – с нетерпением спросил Хмырь, когда Трошкин вышел из гардеробной. – У него? – Неясно, – неопределенно ответил Трошкин. – Пошли! – Ему было неприятно расхаживать на людях в бабьем обличье.

– Нельзя, – сказал Хмырь, кивком головы показав на двух милицейских офицеров, стоявших у выхода. – Переждать надо.

* * *

Благообразный седой человек открыл дверь в мужской туалет и остановился пораженный: там стояли три женщины.

Мужчина извинился и вышел, но потом снова отворил дверь и спросил:

– Девочки, а вы не ошиблись, случаем?

– Заходи, заходи, дядя. Чего уставился? – свойски пригласила молодая косая девка с папиросой.

- Извините, – проговорил человек и вышел.
- Застукают здесь! – испугался Хмырь. – В дамский идти надо...
- Пойдем в зал, – сердито сказал Трошкин. – В зале нас никто искать не будет.
- Прямо так? – спросил Косой.
- Нет. В мужском варианте.

Трошкин и Хмырь вошли в кабинку. Косой снял дубленку и положил ее на подоконник. Под дубленкой на нем оказался краденый трошкинский костюм: пиджак с орденскими колодками и брюки, закатанные выше колен. Косой поднял сначала правую ногу, отломал от туфель каблук, потом точно так же поступил с левым. Обломанные туфли не походили на мужские – получились остроносые чужаки с задранными носами, как у Аладдина. Косой раскатал брюки и прошел в зеркально-кафельную умывальную комнату. Зеркала сразу отразили Косого в новом костюме – со всех сторон, анфас и в профиль. Костюм сидел мешком – он был ему короток и широк, но Косой очень нравился себе.

В этих же зеркалах отразились появившиеся в тренировочных костюмах Трошкин и Хмырь.

– Ну как? – Косой кокетливо повернулся, развесив руки. – Битте дритте, данке шен, – добавил он, думая, что походит на иностранца.

– Где взял? – ревниво спросил завидуций Хмырь, ощупывая материал.

– Попался! – кто-то сзади с силой хлопнул Косого по плечу.

Косой весь сжался, втянул голову в плечи – за ним стоял парень в кожаном пиджаке с университетским значком.

– Не узнаешь, Федор? – улыбался парень.

– Мишка... – неуверенно произнес Косой, испуганно глядя.

– Здорово! – Мишка похлопал Косого по плечу. – А я смотрю – ты или не ты...

– Я, – заулыбался Косой. – Братцы, познакомьтесь, это Мишка. Мы с ним вместе в детдоме были... Ну, где ты? Что ты?

– На «Шарикоподшипнике», инженер. А ты?

– Я?..

– Вор он, – вдруг сказал Трошкин.

– Что вы сказали? – не понял Мишка.

– Вор! – Трошкин шагнул к Косому, отколол орденские планки, сунул их в карман и вышел.

– Что это он? – спросил Мишка Косого.

– Да так... Хе-хе, – насильно хохотнул Косой. – Шутка. Ну пока, привет, – и выбежал.

Разрозненные звуки плавали над залом Большого театра. Оркестр настраивал инструменты.

Наши герои сидели в пятом ряду партера: милиция проводила операцию с размахом.

Рядом с Косым сидела высокая женщина в меховой пелерине. На коленях у нее лежал бинокль.

– Тетя, а тетя! – тихонько позвал Косой.

«Тетя» не отзывалась. Тогда Косой потолкал ее локтем.

– Бинокль дай поглядеть, – попросил он.

– Же не компранца! – сказала женщина.

– Бинокль, гражданочка. Бинокль! – повторил Косой и, чтоб быть понятным, приставил к глазам кулаки и посмотрел в них.

Француженка улынулась и протянула Косому бинокль.

– Я отдам, не бойся! – хмуро заверил ее Косой. Он встал и, настроив бинокль, стал искать кого-то в публике.

Приближенный биноклем Мишка сидел, облокотившись на барьер третьего яруса, и, улыбаясь, говорил что-то сидевшей рядом девушке.

Трошкин проследил за взглядом Косого.

– Дай-ка. – Он взял у Косого бинокль, посмотрел.

– Это его жена? – шепотом спросил Трошкин, возвращая бинокль Косому.

– Откуда я знаю... – буркнул Косой.

– Что, давно не виделись?

– Знаешь что, Доцент, ты, конечно, вор авторитетный, – с глубокой обидой шептал Косой. – Ну и дал бы мне по морде. Только зачем ты при Мишке? Мишка, он знаешь какой... Не то что мы. Он, видал, как обрадовался, а ты при нем... – Губы Косого дрожали, он едва сдерживался, чтобы не заплакать.

– Ну и что? – сказал Трошкин. – Подумаешь, инженер. Что у него за жизнь? Ну, ходит в театр, ну, съездит летом в Ялту. Придет домой с работы, а там жена, дети. Никто его не ловит, ни от кого он не бегаёт. Тоска. А ты... Ты – вор. Джентльмен удачи. Украл, выпил – в тюрьму, украл, выпил – в тюрьму...

– Да тише вы! – зашипел Хмырь.

Поднялся занавес.

«Ялта, где растёт голубой цыган», – пел Али-Баба, прилаживая новую «газовую керосинку». Заглянув в инструкцию, он подсоединил баллоны и поднес спичку. Плитка не зажигалась. Тогда Али-Баба полил «новую керосинку» керосином из примуса и снова поднес спичку.

Старый дом пылал хорошо и красиво, и поэтому собравшиеся зрители с удовольствием смотрели на пожар и пожарников. Автор зрелища – Али-Баба – скромно стоял в сторонке, держа в одной руке чайник, в другой бабу с ватным подолом.

Трошкин, Хмырь и Косой в женском варианте подошли к нему, встали рядом.

– Все, – грустно сказал Косой. – Кина не будет, электричество кончилось.

Помолчали.

– Деньги! – вдруг завопил Хмырь. – Деньги там под половицей лежат! – И кинулся к горящему дому.

– Старуху! Старуху держите! – заволновались в толпе.

Из толпы выскочила худая голенастая девка в дубленке и вместо того, чтобы задержать старуху, пнула ее ногой под зад с криком:

– А, падла! Так вот кто деньги украл!

А старуха к еще большему удивлению толпы, выкинув кулаки боксерским жестом и с криком: «Ответь за падлу!» – пошла на девку в дубленке.

Тогда к двум дерущимся женщинам подбежала третья – толстая, в косынке – и, крикнув: «Отставить», подняла обеих за шиворот и раскидала в разные стороны.

Раздался милицейский свисток. Старуха в ботах крикнула: «Шухер!» – и, подобрав полы длинного пальто, принялась улепетывать. За ней – свирепая девка, следом – толстая баба в косынке. И последним бежал носатый мужик с чайником.

Медленно падал крупный снег. Разноцветными окнами светились дома, празднично горели витрины. Трошкин, Хмырь, Косой и Али-Баба шли хмурые. Молчали.

Возле автоматной будки Трошкин остановился.

– Стойте здесь! – приказал он.

Троица отошла к стене дома, куда им показал Трошкин.

– И ни шагу в сторону! Убью!

Трошкин вошел в автомат и стал звонить.

Троица стояла покорно. Али-Баба и две нелепые бабы с тоской глядели перед собой. А перед ними шли беспечные люди, которые ни от кого не бегали, и каждого ждало где-то светящееся окно.

– Слаломисты, снег пушистый, – несло из репродукторов, – воздух чистый, у-а-у!

– Вот тебе и у-а-у... – сказал Косой.

– Раз-два! Три прихлопа! Раз-два, три притопа! – командовал Трошкин. На вытопанной площадке перед окруженной старыми соснами дачей профессора Мальцева он проводил утреннюю гимнастику. Перед ним стояли голые по пояс Хмырь, Косой и Али-Баба. Они тянули вверх руки, кряхтя нагибались, пытались дотянуться пальцами до земли. Вид у

них был хмурый.

– ...А теперь переходим к водным процедурам, – распорядился Трошкин и, набрав в пригоршню снега, потер им себя по голому животу.

– А у меня насморк! – заныл Косой.

– Пасть разорву!..

– Только это и знаешь... – Косой нехотя подчинился.

– Алло, алло, квартира Трошкиных? Свердловск вызывает, – кричал Трошкин женским голосом в телефонную трубку, но не из Свердловска, а со второго этажа профессорской дачи, из кабинета Мальцева. Трошкин подул, посвистел и погудел в трубку, потом радостно закричал уже своим, трошкинским голосом: – Мама! Здравствуй, это я! С наступающим! Позвони ко мне на работу, скажи, что конференция затягивается, пусть Елена Николаевна возьмет маски у Сарухаяна: зайчиков, лисичек и кошечек. Волков и свиной не брать категорически! Запомнила?

Внизу в гостиной Хмырь в шелковом бордовом халате с мальцевской сигарой в зубах покачивался в шезлонге. На ковре, скрестив ноги по-турецки, сидел Али-Баба, чистил картошку. Из-под его пальцев вился серпантин из картофельной шелухи и падал в хрустальную вазу. А Косой, разложив на столе пиджак от трошкинского костюма, колдовал над ним, вооружившись ножницами.

– Ялта, где растет голубой цыган... – пел Али-Баба.

– Во дурак! – с восхищением сказал Косой. – Виноград!

– Ялта, ляляляляляля, паровоз. – Али-Баба не обратил внимания на критику. Своя песня ему нравилась больше. – Какой шакал этот доцентовский кунак! – заметил он. – Какой большой дом украд...

– А сколько может стоять такая дача? – задумчиво спросил Хмырь, меланхолично пуская голубые кольца душистого дыма.

– Тыщи полторы, не меньше, – сказал наивный Косой. – А то и все две...

– Считай, в десять раз больше, – поправил Хмырь, оглядывая гостиную. – Возьмем шлем, приобрету себе такую хату, сосны срежу и огурцы посажу...

– А к тебе приедет черная машина с решеткой, – продолжил Али-Баба, – скажут: «Тук-тук-тук, здарсьте, Гаврила Петрович!»

Косой вздохнул, взял со стола ножницы и с недовольным лицом разрезал трошкинский пиджак.

В гостиную со второго этажа спустился Трошкин, подошел к Хмырю, выдернул у него изо рта сигару, выкинул в открытую форточку.

– Я же предупреждал: ничего не трогать! – с раздражением сказал Трошкин.

– А он еще губной помадой на зеркале голую бабу нарисовал, – тут же наябедничал Косой.

– Ты что это делаешь? – с ужасом проговорил Трошкин, глядя на свой разрезанный пиджак.

– Разрезы, – поделился Косой.

– Сан Саныч, давай червонец, пожалуйста, – попросил Али-Баба, – газовую керосинку буду покупать, а то тут плитка не горит совсем!

– У-у-у! – застонал Трошкин. Запасы его терпения подходили к концу. – Слушай мою команду! – заорал он плачущим голосом. – Я поехал в город. Без меня ничего не трогать – раз! Огонь не разводите – два! Пищу есть сырую! Из дачи не выходить! Кто ослушается – убую! Вот падла буду, – поклялся Трошкин, – век воли не видать. Вот честное слово!

С электрички на заснеженную платформу сошли двое: профессор Мальцев в летнем пальто и его жена Людмила в дорогой шубе. – Вот видишь, уже почти час, а в два у меня совещание. Поехали обратно! – раздраженно сказал Мальцев.

– Ну и езжай обратно. Я тебя не звала. – Людмила пошла по платформе.

– Люся! – Профессор догнал жену, взял за локоть. – У людей серьезная умственная работа, а мы потревожим их, отвлечем. Это неприлично.

– А по-моему, неприлично забросить своих коллег за город и не оказывать им никакого внимания. Когда ты был в Томске, с тобой носились как с писаной торбой.

Людмила высвободила руку и пошла. Профессор – за ней.

Людмила поднялась на крыльцо, позвонила в дверь.

Никто не отозвался.

– Вот видишь, нету никого, – обрадовался Мальцев.

Людмила позвонила настойчивее.

– Открыто! – донеслось из-за двери.

Людмила толкнула дверь и в сумерках прихожей увидела двоих с поднятыми руками.

Наступила пауза. Обе пары с недоумением разглядывали друг друга.

– Это они? – тихо удивилась Людмила.

– Вроде, – неуверенно отозвался Мальцев.

– Разве вы не знакомы?

– Как это не знакомы? Это товарищ Хмырь, это товарищ Косой. Здравствуйте, дорогие! – закричал Мальцев и кинулся обнимать обалдевших жуликов.

Али-Баба стирал в ванной комнате, с остервенением терзая в руках простыни. – Это Али-Баба! Наш младший научный сотрудник, – сообщил Мальцев Людмиле, заглянув в ванную.

– Ну какие молодцы! – растроганно проговорила Людмила. – А вот моего Николая Георгиевича ни за что стирать не заставишь.

– Доцент бы заставил, – мрачно сказал Али-Баба.

Общество прошло в гостиную. Сели.

– Ну вот что! – сказала Людмила. – Я знаю, что вы очень заняты. Но сегодня Новый год, и мы вас всех приглашаем к себе в нашу городскую квартиру. Народу будет немного. Только свои из академии. Договорились? – Людмила ласково глядела на Косого и Хмыря.

– Они не могут, – сказал Мальцев.

– Коля! – Людмила выразительно посмотрела на мужа.

– Договорились, – согласился Косой. – Адрес давай...

– А мы еще не решили, – поспешно сказал Мальцев, – может, мы еще к Мельниковым пойдем.

– Как это к Мельниковым? – возмутилась Людмила. – Тогда зачем я два дня не отхожу от плиты?

Вошел Али-Баба, поставил перед гостями хлеб, соль и сырую картошку.

– Натё, жрите! – сказал он и ушел.

– Это что такое? – удивилась Людмила.

– Картошка, – сказал Мальцев.

– Я вижу, что картошка. А почему она сырая?

– Доцент так велел, – объяснил Косой.

Мальцев решительно взял из вазы картофелину и стал ее есть, как едят яблоко.

– Коля... – удивилась Людмила.

– А что? Вот хунзакуты, племя на севере Индии, употребляют в пищу только сырые овощи, и это самые здоровые люди на земле. Мак-Кэрисон провел опыт: 1200 крыс, содержащихся на рационе небогатой лондонской семьи – хлеб, сельдь, сахар, консервированные и вареные овощи, – приобрели болезни, распространенные среди лондонцев: легочные и желудочные. А другие 1200 крыс, питавшихся тем же, что и хунзакуты, были абсолютно здоровы. По словам Аллена Баника из США, восьмидесятилетние женщины в Хунзе выглядят, как наши сорокалетние, – сообщил Мальцев.

Людмила взяла из вазы сырую картошину и изящно надкусила.

Косой поверил и тоже взял картошину. Пожевал и выплюнул. Потом круто посолил, откусил, пожевал и снова выплюнул в кулак и спрятал в карман.

– В лагере и то горячее дают, – пожаловался он.

– В каком лагере? – не поняла Людмила.

– А давайте споем что-нибудь все вместе! – предложил Мальцев и первый громко заорал:

Жил да был черный кот у ворот...

– Коля! – Людмила с упреком посмотрела на мужа. – А что ты меня все время одергиваешь: Коля, Коля... – разозлился Мальцев. – Что, я уже не могу спеть со своими друзьями?

– Вот скажите, товарищ Хмырь, вы так же со своей женой разговариваете?

Хмырь промолчал.

– Вот видишь, а я десять лет тебя прошу, чтобы ты взял меня с собой в экспедицию. Товарищ Хмырь, скажите, а вот есть же у вас должности, которые не требуют специальных знаний?

– Ну это смотря кем работать, – компетентно вмешался Косой. – Если медвежатником, то тут, конечно, техника, слесарное дело. Если скок лепить, тоже обратно ж замки. А если, скажем, как Хмырь по вокзалам... Ой!

Хмырь с силой пнул Косого под столом.

– А если, скажем, поварихой? – спросила Людмила, которая ни слова не поняла в «научной» терминологии Косого.

– Да тут чего... недоложил, недовесил, это каждый дурак может.

Хмырь снова с силой пнул Косого под столом. Шепнул:

– Дурак, она думает, мы ученые.

– А вообще все зависит от способностей, – вывернулся Косой. – Вот один мой знакомый... тоже ученый, у него три класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует – не отличишь от настоящей.

– О! Шахматы! – вдруг завопил Мальцев. – Кто играет в шахматы?

– Я! – сказал Хмырь.

На лестничной площадке дома против сквера стояли двое: гардеробщик и высокий человек в серой кепке. Смотрели в окно. Отсюда были видны фонтан и сидящий на лавочке Трошкин. – Ну? – спросил гардеробщик. – Он?

– Черт его знает... Проверю.

Человек в кепке пошел вниз по лестнице. Вышел из подъезда, пересек Театральную площадь. Подошел к Трошкину.

– Простите, спичек не найдется? – спросил человек в кепке.

– Не курю, – вежливо ответил Трошкин.

Человек отошел. Трошкин посмотрел на часы, потом перевел глаза в сторону. В стороне в белой «Волге» сидел Славин и тоже смотрел на часы.

Трошкин встал, нетерпеливо прошелся вокруг фонтана, снова сел.

– Он, – сказал человек в кепке, поднявшись к гардеробщику.

Гардеробщик достал из кармана театральный бинокль, навел на Трошкина.

Трошкин поднялся и зашагал к белой машине. Сел в нее возле водителя, что-то сказал ему, показывая на часы. Водитель что-то проговорил в микрофон по рации. Машина тронулась.

– Легавый, – сказал гардеробщик.

Человек в кепке кивнул.

– Раз, два, три, четыре! – Хмырь стоял над Мальцевым, с деловитой жестокостью всаживая ему щелчки в лоб. – С оттяжкой, с оттяжкой бей, – руководил Косой. – Да не так. Дай я.

– Десять! – провозгласил Хмырь, всаживая последний щелчок. – Все.

– Ну все, – сказала Людмила, поднимаясь. – Поехали, Коля.

– Еще одну партию! – потребовал самолюбивый Мальцев. – Последнюю. Блиц! Ходите.

Людмила села рядом с Али-Бабой, сказала, извиняясь за мужа:

– Николай Георгиевич, когда входит в азарт, обо всем забывает.

– Слушай, хозяйка, – гнул свою линию Али-Баба, – газовую керосинку надо покупать. Плитка совсем плохо горит.

– Ой, простите, я не так пошел, – сказал Мальцев.

– Карте место, – сказал Косой.

– А вы вообще отойдите, пожалуйста, – сказал Мальцев Косому.

– Коля! – одернула Людмила.

– Товарищ Хмырь, – категорически заявил профессор, – скажите товарищу Косому, пусть отойдет: он мне на нервы действует.

– Отвались, – велел Косому Хмырь.

– Пожалуйста. – Косой презрительно пожал плечами. – Сам играть не умеет и сразу – Косой, Косой... Барыга! – Он отошел.

– Так. Значит, мой ход, – сказал себе Мальцев.

– Нет, мой, – возразил Хмырь. – Вы уже пошли.

– Слушайте, прошу вас как человека, отдайте ход!

– Не отдам!

– Отдайте!

– Не отдам!

– Вы что? – Мальцев вытаращил на Хмыря глаза. – Вы что, не понимаете, когда с вами по-человечески разговаривают?! Отдайте ход, воруга!

– Ну это уже немислимо! – Людмила поднялась и смешала на доске шахматы. – Пошли, Коля! – Она потянула Мальцева за рукав.

– Что ты ко мне привязалась?! – заорал на жену Мальцев. – Что ты мне жить не даешь, дышать не даешь?! Коля-Коля-Коля! – обидно передразнил он.

– Так... – проговорила Людмила. – Спасибо. Можешь идти встречать Новый год у Мельниковых или где тебе угодно. И я тебя очень прошу отныне не приставать ко мне ни со своими друзьями, ни со своим шлемом, ни со своим Александром Македонским. До свидания, товарищи! – самолюбиво попрощалась Людмила и ушла.

– Ну ладно, я проиграл, – сказал Мальцев Хмырю, смущенный уходом жены. – Давай бей, и я пошел. – Мальцев подставил лоб.

Хмырь спокойно поднялся из-за стола, подошел к двери, запер ее.

– Ты что делаешь? – растерялся Мальцев.

Хмырь так же молча подошел к столу, взял хрустальную вазу с картошкой, высоко поднял ее над головой. Косой, Мальцев и Али-Баба с удивлением следили за его действиями.

– Отдашь шлем? – спросил Хмырь.

– Какой шлем? – растерялся Мальцев.

– Который тебе Доцент отдал.

– Абсурд! – усмехнулся Мальцев.

Хмырь разжал пальцы, ваза грохнулась об пол, и сырая картошка раскатилась по полу.

– Это раз! – предупредил Хмырь. Подошел к стене, снял стенные часы с кукушкой.

– Мой тебе совет: не темни. Все же ясно, твоя маруха раскололась. Давай: три четверти нам, одна тебе. Ну? Согласен? – Хмырь поднял над головой часы.

Мальцев промолчал.

Хмырь грохнул об пол часы и сказал:

– Это два. Ну? Всю дачу переколочу.

Мальцев усмехнулся, встал, взял стул и, размахнувшись изо всех сил, грохнул им по серванту.

– А это три! – сказал он. – Нету у меня никакого шлема, дорогой мой товарищ Хмырь! Нету, дорогой мой хунзакут! – Мальцев вышел в прихожую, надел свою дубленку, отпер дверь, обернулся к изумленным жуликам. – Аривидерчи, чао!

Он помахал в воздухе кистью руки, толкнул дверь ногой и вышел.

– Нету у него никакого шлема, – заключил Косой.

– Какая хорошая женщина, – мечтательно проговорил Али-Баба, – и какой шакал

мужчина. Барыга! У Феде шубу украл!

– Проверка показала, – докладывал Славин полковнику Верченко, – что по трем адресам, указанным сообщниками Белого, шлема нет. Остается последняя версия: Прохоров – гардеробщик Большого театра. Однако проверить эту версию не удалось: на назначенное свидание Прохоров не явился. – И не явится, – сказал Верченко. – С утра он уволился с работы и выехал из дому в неизвестном направлении. Видимо, что-то заподозрил... Ну что ж, далеко не уйдет. Будем искать...

– А мне что делать? – спросил Трошкин, сидящий на диване рядом со Славиним.

– А вам... – Верченко вышел из-за стола, подошел к Трошкину, крепко, по-мужски пожал руку, – тысячи извинений и огромное спасибо! Снимайте парик, смывайте наколки и идите домой встречать Новый год.

– А эти? – растерялся Трошкин.

– Ну а ваших подопечных мы вернем на место.

– Прямо сейчас?

Полковник кивнул.

– А может, завтра? – попросил Трошкин. – Все-таки праздник. Новый год. Они ведь тоже по-своему старались.

– Евгений Иванович, не хотел я вам говорить, да, видно, придется. Сегодня из подмосковного лагеря бежал Белый. Доцент.

– Не может быть! – ахнул Славин.

– Невероятно, но факт. Так что вам, Евгений Иванович, опасно оставаться в таком виде.

– Так мы же за городом... Маловероятно, чтобы он тоже решил спрятаться на даче у профессора Мальцева.

– Ну что ж... – улыбнулся Верченко. – Желание гостя – закон для хозяина.

Бам! Бам! Бам! – били кремлевские куранты. На даче за накрытым столом сидели Трошкин, Косой, Хмырь и Али-Баба. Трошкин поднял бокал и встал.

– Товарищи, – негромко начал он, – Гаврила Петрович, Вася, Федя. Пришел Новый год. И я вам желаю, чтобы в этом новом году у вас все было по-новому.

Трошкин поочередно чокнулся с каждым и выпил. Выпили и они.

– А теперь, – он улыбнулся и потер руки, – минуточку... – Он встал и пошел из комнаты.

– Куда это он? – спросил Косой Хмыря.

– А я знаю? У него теперь ничего не поймешь.

– Совсем озверел, шакал, – вздохнул Али-Баба.

– Тук-тук-тук! – раздался радостный голос Трошкина. – Кто к вам пришел?..

Все обернулись: в дверях стоял Трошкин в маске Деда Мороза. Через плечо – мешок с подарками.

– К вам пришел Дед Мороз, он подарки вам принес! – продекламировал Трошкин. – Федя, поди сюда, – пригласил он.

– А что я такого сделал? – насторожился Косой.

– Иди, иди...

Косой приблизился.

Достав из мешка высокие пестрые носки, подшитые оленьей кожей, Трошкин вложил их в руки Косого.

– Носи на здоровье. Это домашние.

– А на фига мне они? У меня и дома-то нет.

– Будет, Федя. Все еще впереди... А пока и в тюрьме пригодятся.

– Только и знаешь, что каркать! – расстроился Косой и вернулся к столу, не испытывая никакой благодарности.

– Гаврила Петрович! – Трошкин продолжил роль Деда Мороза. – Это тебе, – и протянул Хмырю такие же тапочки.

– Спасибо, – поблагодарил Хмырь, заметно обрадовавшись. – Настоящая шерсть... –

по-хозяйски отметил он.

– И это тоже тебе. – Трошкин протянул Хмырю письмо.

Тот поглядел на конверт, прочел обратный адрес и быстро вышел из комнаты.

– А это тебе, Вася. – Трошкин подошел и протянул Али-Бабе пару носков.

– Давай. – Али-Баба взял носки и сунул их в карман.

Трошкин снял маску и разлил по бокалам остатки шампанского.

– Ну, будем, – сказал он.

– Кислятина, – поморщился Косой. – Скучно без водки.

– А что, обязательно напиваться как свинья? – возразил Трошкин.

– А чего еще делать?

– А вот так посидеть, поговорить по душам.

– Я не прокурор, чтоб с тобой по душам разговаривать, – хмуро отозвался Косой.

– Можно поиграть во что-нибудь, – предложил Трошкин.

– Хе! Во дает! – Косой восхитился наивностью предложения. – Нашел фраера с тобой играть: у тебя в колоде девять тузов!..

– А необязательно в карты. Есть много и других очень интересных игр. Вот, например, в города – знаете? Я говорю: Москва, а ты на последнюю букву – Астрахань, а ты, Вася, значит, на «Н» – Новгород. Теперь ты, Федя.

– А что я?

– Говори на «Д».

– Воркута.

– Почему Воркута?

– А я там сидел.

– Ну хорошо, Воркута. Теперь ты, Вася, говори на «А».

– Джамбул, – грустно сказал Али-Баба.

– При чем тут Джамбул?

– Потому что там тепло, там мама, там мой дом.

– М-да... Ну ладно, – махнул рукой Трошкин. – Давайте тогда так: я выйду, а вы что-нибудь спрячьте. А я вернусь и найду.

– Ты бы лучше шлем нашел, – посоветовал Косой.

– Мы будем прятать, а ты в дырку смотреть, да? – недоверчиво отозвался Али-Баба.

– Ну хорошо, – терпеливо согласился Трошкин, – тогда пусть Федя выйдет и спрячет, а ты следи, чтобы я не подглядывал.

– Почему я? – обиделся Косой. – Чуть что, сразу Федя!

– Пасть разорву, паршивец этакий! – строго пообещал Трошкин.

– Пасть, пасть... – сразу струсил Косой и, взяв со стола спичечный коробок, пошел его прятать.

– Слушай, Доцент, ты когда-нибудь был маленький? – неожиданно спросил Али-Баба.

– Был.

– У тебя папа-мама был?

– Был.

– А зачем ты такой злой? Зачем такой собака?

Трошкин посмотрел на Али-Бабу трошкинскими своими глазами.

– Эх, Вася, Вася!.. – вздохнул он.

Скрипнула дверь. На пороге обозначилась безмолвная фигура Косого.

– Спрятал? – обернулся к нему Трошкин.

– Хмырь повесился... – тихо и без всякого выражения проговорил Косой.

*А через год попал я в слабосилку,
Все оттого, что ты не шлешь посылку,
Ведь я не жду посылки пожирней,
Пришли хоть, падла, черных сухарей... –*

с чувством пропел гардеробщик. Налил себе стакан водки, чокнулся с человеком, которого мы видели в кепке (сейчас он был без кепки). Выпил и заплакал.

– Митяй, – спросил он человека без кепки, – ты меня уважаешь?

Митяй кивнул.

– Пришить его надо, легавого этого. Всю песню мне испортил.

В дверь постучали сложным условленным стуком.

Двое вскочили из-за стола. Гардеробщик встал за дверь, а Митяй взял со стола второй стакан, кинул его под кровать. Потом быстро открыл дверь и отскочил.

В дверях стоял Белый-Доцент.

– Э-э-э... – пьяно хихикнул гардеробщик. – Сам пришел...

– И ты здесь... – прохрипел Доцент, закрывая за собой дверь, устало прислонившись к косяку. – А я было к тебе сунулся, да только почувствовал: засада там. Я чувствую. Я всегда чувствую... Схорониться мне надо, Митяй...

– Пошли, – сказал Митяй, надевая пальто.

Трое подошли к каркасу строящегося дома, по деревянным мосткам полезли вверх. – Куда это мы? – спросил Доцент.

– Идем, идем...

На площадке девятого этажа Митяй остановился.

– Вот и пришли, – сказал он.

Доцент огляделся. Стен у дома еще не было, внизу пестрыми огнями переливалась новогодняя Москва.

В руках Митяя сверкнул нож. Гардеробщик достал из кармана опасную бритву.

– Понятно, – прохрипел Доцент, отступая на край площадки.

Митяй замахнулся ножом, потом, изогнувшись в прыжке, выбросил вперед руку. Доцент едва заметным движением увернулся, в какую-то секунду оказался за спиной Митяя и двумя руками с силой толкнул его в спину.

Митяй балансировал на самом краю площадки, пытаясь удержаться. Доцент легко подтолкнул Митяя, его нога ступила в пустоту, он с коротким криком полетел вниз.

Сзади к Доценту подкрался гардеробщик. Взмахнул бритвой.

Хмырь лежал на широкой профессорской кровати, маленький и жалкий. Косой и Али-Баба сидели рядом, а Трошкин на пуфике возле трюмо. – Больно, Гарик? – участливо спросил Али-Баба.

Хмырь потрогал шею, покрутил головой.

– Больно, Вася... – всхлипнул он.

– Чего врешь-то? – вмешался Косой. – Откуда ж больно, когда ты и голову в петлю толком не успел сунуть!..

– Молчи, – сказал Али-Баба. – Ему тут больно, – он постукал себя по левой стороне груди. – Да, Гарик?

– Да, Вася, – простонал Хмырь. – Прочти! – шепотом попросил он.

– Опять? – недовольно сказал Косой.

Али-Баба развернул тетрадный листок, исписанный крупным аккуратным почерком, и начал читать:

– «Здравствуй, дорогой папа! Мы узнали, что ты сидишь в тюрьме, и очень обрадовались, потому что думали, что ты умер...»

Хмырь заплакал.

– Интересно, – бодро сказал Косой, – какая зараза Хмыренку этому про Хмыря накапала?

– Цыц! – рассердился на него Али-Баба и продолжал чтение: – «И мама тоже обрадовалась, потому что, когда пришло письмо, она целый день плакала. А раньше она говорила, что ты летчик-испытатель».

– Летчик-налетчик, – усмехнулся Косой.

– «А я все равно рад, что ты живой, потому что мама говорит, что ты хороший, но

слабохарактерный».

– Точно! Слабохарактерный... – снова перебил Косой. – Стырил общие деньги и на таксиста свалил.

– Канай отсюда, падла! Рога поотшибаю, – вскочил, не выдержав, самоубийца и вцепился в Косого. – Хунзак паршивый! Вырядился, вылез из толчка: «Битте, дритте, данке шен!»

– Кто хунзак? – Косой побледнел. – Ответь за хунзака!

– Федя! – вмешался Али-Баба. – Отпусти Гарика, Гарик в очень расстроенном состоянии.

– А ты бы помолчал, поджигатель. Кактус!

– Что ты сказал? Это я кактус, да? А ну повтори...

– Кактус, кактус, кактус! – кричал Косой на Али-Бабу.

– Хунзакут, хунзакут! – вопил Хмырь на Косого.

– Прекратите! – истошно заорал Трошкин так, что стекла задрожали.

Трое отпустили друг друга, сели на ковре, уставившись на Трошкина.

– Ну что вы за люди такие! Как вам не стыдно! Вам по сорок лет, большая половина жизни уже прожита. Что у вас позади? Что у вас в настоящем? Что у вас впереди? Мрак, грязь, страх! И ничего человеческого! Одумайтесь, пока не поздно. Вот мой вам совет!

Трошкин поднялся и вышел из спальни.

Хмырь, Косой и Али-Баба недоуменно переглянулись.

– Во дает! – сказал Косой.

Али-Баба встал, прошелся по комнате, поцокал языком.

– Правду он советует, этот ваш Доцент. Идем в тюрьму!

– Во-во! – усмехнулся Косой. – Рябому он тоже советовал-советовал, тот уши развесил, а он ему по горлу: чик! От уха до уха!

– Сколько у меня было? – спросил себя Али-Баба. – Один год! – Он поднял палец. – Сколько за побег дадут? Три. – Он поднял еще три пальца. – Сколько за детский сад и за машину? Ну пускай десять! – Пальцев уже не хватило. – Сколько всего будет?

– Четырнадцать, – сипло сказал Хмырь.

– И что вы думаете, я из-за каких-то паршивых четырнадцати лет эту вонючку терпеть буду? Которая горло по ушам режет, да? Не буду! Вы как хотите, а я пошел в милицию!

– Вась, а Вась, – с уважением сказал Косой, почувствовав в Али-Бабе новое начальство. – А я давеча ему говорю: у меня насморк, а он...

– Да хватит тебе, надоел ты со своим насморком! – Хмырь поднялся, оглянулся на дверь и пальцем поманил к себе товарищей...

...

Полковнику Верченко Н.Г.

от зав. детским садом № 83

Трошкина Е.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ –

писал Трошкин за столом в кабинете Мальцева.

...Иду раскрываться. Если что случится, прошу никого не винить. *Е. Трошкин.*

Трошкин скатал записку в трубочку и сунул ее в стакан с карандашами. Встал и решительно зашагал из кабинета...

Он раскрыл дверь в спальню, но там было пусто.

– Эй, где вы? – позвал Трошкин.

– Здесь! – отозвался с веранды голос Косого.

Косой, Хмырь и Али-Баба сидели на корточках, держа в руках конец ковровой дорожки, идущей к двери.

– Что это с вами? – спросил, войдя, Трошкин.
– Ковер чистить будем, – сказал Али-Баба.
– Ладно... Вот что, товарищи. Финита ля комедия... Прежде всего снимем это. – Трошкин взялся рукой за челку и дернул вверх. – Раз! – Парик не поддался – спецклей был на уровне. Тогда Трошкин дернул посильнее... – Два!

– Три!! – неожиданно скомандовал Али-Баба, и троица дружно дернула дорожку на себя.

Ноги у Трошкина поехали, он взмахнул руками и грохнулся на пол...

Евгений Иванович Трошкин лежал на полу, закатанный в ковер, так что торчала только голова с одной стороны и подметки сапог – с другой. Во рту у него был кляп, сделанный из новогоднего подарка. Хмырь, Косой и Али-Баба, развалясь в креслах, курили профессорские сигары, отдыхали, наслаждаясь определенностью положения. А за окном начинался первый день нового года.

– Ну, понесем! – сказал Али-Баба.

– Сейчас, – лениво отозвался Косой.

– Ай-ай-ай!.. – зацокал языком Али-Баба. – А если б мы еще и шапку принесли! Доцент кто? Жулик. Жуликов много, а шапка одна.

– Да, – сказал Хмырь. – За шлем бы нам срок сбавили. И куда он его дел – все вроде обошли...

– У-у! Жулик! – Косой легонько и боязливо потолкал Трошкина ногой. – Я тебе говорил: у меня насморк. А ты: пасть, пасть... Нырять заставлял в такую холодину...

– Когда это он тебя заставлял нырять? – спросил Хмырь.

– А когда нас брали... Помнишь, пришел: «Я рыбу на дно положил, а ты ныряй»... А мороз был градусов тридцать...

– Постой, постой, – насторожился Хмырь. – Чего он тогда про рыбу-то говорил?

– Я его спрашиваю: продал шлем? А он: в грузовик, говорит, положил и толкнул с откоса...

– Да нет, про рыбу он что?

– Рыбу, говорит, поймал в проруби, где мы воду брали, и на дно положил. А ты, Косой, говорит, плавать умеешь? У-у-у... – Косой снова потолкал Трошкина ботинком.

– В проруби он шлем схоронил! Вот что! В проруби, больше негде ему быть! – закричал вдруг Хмырь, осененный внезапной догадкой.

Трошкин задергался в своем коконе.

– Точно!! – заорал Косой. – Смотри на него – вспомнил, зараза! В проруби он, в Малаховке! Гарик, чего ж ты молчал? Во жлоб! Хоть бы записку оставил, когда вешался!

– Пошли! – сказал Хмырь.

– А его? – напомнил Али-Баба.

– Пусть сами забирают, – распорядился Хмырь. – Такого кабана носить!.. Пошли!

* * *

К даче подъехал красный «Москвич», из него вылезла Людмила с картонной коробкой, на которой было написано: «Керогаз».

– Археологи, ау! – крикнула она.

Дача стояла тихая, заснеженная, с темными слепыми окнами.

Напротив лодочной станции Хмырь, Косой и Али-Баба стояли на коленях у проруби и заглядывали в черную дымящуюся воду. – Нету здесь ни фи́га, – сказал Косой.

– Там он, – убежденно сказал Хмырь. – На дне. Нырнуть надо.

– А почему я? – заорал Косой, отодвигаясь от проруби. – Как что, сразу Косой, Косой! Вась, а Вась, скажи ему, пусть сам лезет!

– Холодно, – сказал Хмырь. – Я заболею.

– Во дает! Щас вешался насмерть, а щас простудиться боится! – сказал Косой и осекся: к ним по льду шел... Доцент!

Доцент оброс щетиной, щеку и лоб пересекала широкая ссадина, рука была замотана окровавленной тряпкой, а в руке опасная бритва.

– Скажите, пожалуйста, – Трошкин притормозил профессорский «Москвич» и высунулся в окошко, – где тут лодочная станция? – Там... – показал мальчишка лыжной палкой.

Косой стоял, оглушенный холодом, мокрая одежда на нем леденела. – Надо бы пришить вас, да время терять неохота. Встретимся еще! – Доцент прижал к ватнику золотой шлем и пошел к берегу.

И тут произошло невероятное.

От лодочной станции к Доценту бежал еще один Доцент!

Доценты остановились друг против друга и застыли, готовясь к бою.

– Э-э! – удивился Али-Баба. – Теперь две штуки стало!

– И там, на даче, еще один, – сказал Косой, дрожа от холода.

– Чем больше сдадим, тем лучше, – сказал Хмырь.

Когда две милицейские «Волги» подлетели к повороту на Малаховку, Славин резко нажал на тормоз: по шоссе прямо на него Али-Баба и двое разбойников вели двух скрученных Доцентов! А на голове Али-Бабы, как у военачальника, был надет шлем Александра Македонского... Первым выскочил из машины профессор Мальцев, он подбежал к Али-Бабе и постучал пальцами по его голове, вернее, по шлему. Потом снял шлем и заплакал:

– Он.

– А который тут твой? – спросили милиционеры Славина, разглядывая Доцентов.

– Этот! – Лейтенант подошел к одному из них, обнял и поцеловал.

А дальше Косой, Али-Баба и Хмырь удивленно наблюдали, как одному Доценту горячо трясли руки, а другому вязали их за спину, потом обоих проводили к машине, влезли сами и поехали.

– А мы? – растерянно сказал Косой.

– Э! Постой! – Али-Баба пробежал несколько шагов. – Сдаемся!

Шел снег, было холодно.

«Волга» остановилась. Оттуда выскочил Евгений Иванович Трошкин – без парика и без шапки. Лысый.

– Гляди, обрили уже... – ахнул Косой. Бритый Доцент широко раскинул руки и бежал к ним навстречу, на его глазах блестели слезы.

– Бежим! – пискнул Хмырь.

Двое повернулись и что есть сил побежали по шоссе. Али-Баба поколебался, но потом по привычке присоединился к большинству.

Так они и бежали по шоссе: впереди трое, а один сзади.

День без вранья

Сегодня ночью мне приснилась радуга. Я стоял над озером, радуга отражалась в воде, и получалось, что я между двух радуг – вверху и внизу. Было ощущение счастья, такого полного, которое может прийти только во сне и никогда не бывает на самом деле. На самом деле обязательно чего-нибудь недостает.

Я проснулся, казалось, именно от этого счастья, но, взглянув на часы, понял: проснулся еще и оттого, что проспал.

Скинув ноги с кровати, сел, прикидывая в уме, сколько времени осталось до начала урока и сколько мне надо для того, чтобы собраться и доехать до школы.

Если я прямо сейчас, босой, в одних трусах, побегу на троллейбусную остановку, то опоздаю только на полторы минуты. Если же начну надевать брюки, чистить зубы и

завтракать, то после этого уже можно никуда не торопиться, а сесть и написать заявление об уходе.

Меня позвали к телефону. Это звонила Нина. Разговаривала она со мной так, будто она премьер-министр, а я по-прежнему учитель французского языка средней школы.

Сдерживая благородный гнев, Нина спросила, приду я вечером или нет. Я сказал: постараюсь, хотя знал, что не приду.

Вернувшись в комнату, я подумал, что последнее время вру слишком часто – когда надо и когда не надо, – чаще всего по мелочам, а это плохой признак. Значит, я не свободен, значит, кого-то боюсь – врут тогда, когда боятся.

Я надел брюки и решил, что сегодня никого бояться не буду.

Троллейбус был почти пуст, только возле кассы сидела женщина и читала газету. Она держала газету так близко к глазам, что казалось, будто прячет за ней лицо.

В десять часов утра мало кто ездит. Рабочие и служащие давно работают и служат, а те, кто не работает и не служит, в это время не торопясь одеваются, чистят зубы и завтракают. Для них десять часов рано.

Для меня десять часов поздно, потому что через двадцать минут я должен начать урок в пятом «Б».

Я преподаю французский язык с нагрузкой двадцать четыре часа в неделю. Я бы с удовольствием работал двадцать четыре часа в год, но тогда моя годовая зарплата равнялась бы недельной.

Когда-то я хотел учиться в Литературном институте, на отделении художественного перевода, но меня туда не приняли. Окончив иняз, хотел работать переводчиком, ездить с делегациями за границу, но за границу меня никто не приглашает, а самому ходить и напрашиваться неудобно.

Моя невеста Нина говорит, что я стесняюсь всегда не там, где надо. А ее мама говорит, что я сижу не на своем месте. «Своим» местом она, очевидно, считает такое, где моя месячная зарплата равнялась бы теперешней годовой.

Надо было платить за проезд. Я порылся в карманах, достал мелочь – три копейки и пять копеек. Подумал, что если брошу пятикопеечную монету, то переплачу: ведь билет стоит четыре копейки. Если же опущу три копейки, то обману государство на копейку. Посомневавшись, я решил этот вопрос в свою пользу, тем более что рядом не было никого, кроме близорукой женщины, которая читала газету.

Я спокойно оторвал билет, сел против кассы и стал припоминать, как мы с Ниной ссорились вчера по телефону. Сначала я говорил – она молчала. Потом она говорила – я молчал.

Женщина тем временем отложила газету и строго поинтересовалась:

– Молодой человек, сколько вы опустили в кассу?

Тут я понял, что она не близорука – наоборот, у нее очень хорошее зрение – и что она контролер. Опыт общения с контролерами у меня незначительный. Но сегодня я не воспользовался бы никаким опытом. Сегодня я решил никого не бояться.

– Три копейки, – ответил я контролерше.

– А сколько стоит билет? – Такие вопросы в школе называют наводящими.

– Четыре копейки, – сказал я.

– Почему же вы опустили три вместо четырех?

– Пожалел.

Контролерша посмотрела на меня с удивлением.

– А вот сейчас оштрафую вас, заплатите в десять раз больше. Не жалко будет?

– Почему же? – возразил я. – Очень жалко.

Контролерша смотрела на меня, я – на контролершу, маленькую, худую, с озябшими пальцами. Она была такая худая, наверное, оттого, что много нервничала – по своей работе ей приходилось ссориться с безбилетными пассажирами.

А контролерша, глядя на меня, тоже о чем-то думала: припоминала, наверное, где меня

раньше видела. На меня многие так смотрят, потому что я похож на киноартиста Смоктуновского, только у меня волос побольше. Но моя контролерша скорее всего в кино ходила редко и Смоктуновского вряд ли знала.

– Может, вы просто забыли бросить копейку? – Это был следующий наводящий вопрос.

– Я не забыл. Я пожалел.

Такой искренний безбилетник контролерше, очевидно, раньше не попадался, и она не знала, как в таких случаях себя вести.

– Вы думаете, мне приятно брать с вас штраф? – растерянно спросила она.

– По-моему, в этом заключается ваша работа.

– Нет, не в этом: моя работа в том, чтобы касса делала полные сборы. Да. А некоторые так и норовят обмануть. Или вообще ничего не платят, а билет отрывают... – Контролерша, видимо, хотела сказать мне о роли доверия на современном этапе к человеку, о принципе «доверяй, но проверяй» и о том, что именно они, контролеры, призваны повышать сознательность граждан.

Но ничего этого она не сказала, а, махнув рукой, прошла вперед и села под табличкой «Места для пассажиров с детьми и инвалидов».

Троллейбус остановился, я бросил в кассу пятикопеечную монету и сошел. Это была моя остановка.

В школе было тихо и пустынно. Школьный сторож Пантелей Степаныч, а за глаза просто Пантелей, сидел в одиночестве возле раздевалки в своей неизменной кепочке, которую он носил, наверное, с тех пор, когда сам еще ходил в школу.

Пантелей – и сторож, и кассир, и завхоз, он чинит столы и парты, прибывает плакаты и портреты знаменитых людей. Если бы ему поручили, он мог бы преподавать французский язык в пятом «Б» и делал бы это с не меньшим успехом, чем я. Во всяком случае, приходил бы вовремя.

Увидев меня, Пантелей скорчил гримасу, как Мефистофель, и погрозил пальцем:

– Смотри, жене все скажу.

Это была его дежурная шутка. Молодым учительницам он говорил то же самое, но заменял слово «жене» словом «мужу»: «Смотри, мужу все скажу».

Учительниц это раздражало, потому что мужей у многих не было, а Пантелей каждый раз напоминал об этом.

Я стал раздеваться и уже видел свой пятый «Б» в конце коридора второго этажа: Малкин бегаёт по партам, давя каблуками чернильницы, а Собакин наверняка сидит под потолком.

В пятом «Б» раньше помещался спортивный зал, и в классе до сих пор осталась стоять шведская стенка. Собакин каждый раз забирается на самую верхнюю перекладину, и каждый раз я начинаю урок с того, что уговариваю его сойти вниз.

Обычно это выглядит так.

– Собакин! – проникновенно вступаю я.

– А! – с готовностью откликается Собакин.

– Не «а», а слезь сию минуту.

– Мне отсюда лучше видно и слышно.

– Ты слышишь, что я тебе сказал?

– А чё, я мешаю?..

Дальше начинается ультиматум с моей стороны, что, если-де он, Собакин, не слезет, я прекращу урок и выйду из класса.

Собакин продолжает сидеть на стенке, завернув носы ботинок за перекладину. Класс молча, с интересом наблюдает. Несколько человек болеют за меня, остальные за Собакина.

Я проигрываю явно. Выйти я не могу: стыдно перед учениками и попадет от завуча. Собакин слезать не собирается. Мне каждый раз хочется подойти, стянуть его за штаны и дать с уха на ухо, как говорит Нинина мама, чтоб в стенку влип.

Кончается это обычно тем, что детям становится жаль меня, они быстро и без разговора водружают Собакина на его положенное место.

Сегодня я, как обычно, «открыл» урок диалогом с Собакиным.

– Собакин!

– А!

– Ну что ты каждый раз на стену лезешь? Хоть бы поинтереснее что придумал.

– А что?

– Ну вот, буду я тебя учить на свою голову.

Собакин смотрит на меня с удивлением. Он не предполагал, что я сменю текст, и не подготовился.

– А вам не все равно, где я буду сидеть? – спросил он.

Я подумал, что мне, в сущности, действительно все равно, и сказал:

– Ну сиди.

Я раскрыл журнал, отметил отсутствующих.

Уроки у меня скучные. Я все гляжу на часы, сколько минут осталось до звонка. А когда слышу звонок с урока, у меня даже что-то обрывается внутри.

Я прочитал в подлинниках всего Гюго, Мольера, Рабле, а здесь должен объяснять imparfait спрягаемого глагола и переводить фразы: «это школа», «это ученик», «это утро».

Я объясняю и перевожу, но морщусь при этом, как чеховская кошка, которая с голоду ест огурцы на огороде.

Я скучаю, и мои дети тоже скучают, а поэтому бывают рады даже такому неяркому развлечению, как «Собакин на стенке». Сегодня Собакин слез сразу, так как, получив мое разрешение, потерял всякий интерес публики к себе, а просто сидеть на узкой перекладине не имело смысла.

Отметив отсутствующих, я спрашиваю, что было задано на дом, и начинаю вызывать к доске тех, у кого мало отметок и у кого плохие отметки.

Сегодня я вызвал вялого, бесцветного Державина, у которого мало отметок, да и те, что есть, плохие. Дети дразнят его «Старик Державин».

– Сэ ле... матен... – начал Старик Державин.

– Матэн, – поправил я и, глядя в учебник, стал думать о Нине.

– Матен, – упрямо повторил Державин.

Я хотел поправить еще раз, но передумал – у парня явно не было способности к языкам.

– Знаешь что, – предложил я, – скажи своей маме, пусть она перестанет нанимать тебе учителя, а найдет своим деньгам лучшее применение.

– Можно, я скажу, чтобы она купила мне батарейки для карманного приемника? – Державин посмотрел на меня, и я увидел, что глаза у него синие, мраморного рисунка.

– Скажи, только вряд ли она послушает.

Державин задумался, а я, взглянув на его сведенные белые брови, подумал, что он вовсе не бесцветный и не вялый, – просто парню не очень легко жить с такой энергичной мамой и таким учителем, как я.

Через класс пролетела записка и шлепнулась возле Тамары Дубовой.

– Дубова, – попросил я, – положи записку мне на стол.

– Какую, эту?

– А у тебя их много?

– У меня их нет.

Я почувствовал, что если вовремя не прекратить этот содержательный разговор, он может затянуться. Удивительно, в общении с Дубовой я сам становлюсь дураком.

– Ту, что валяется возле твоей парты, – сказал я.

Дубова с удовольствием подхватила, подняла записку, положила передо мной на стол и пошла обратно, вихляя спиной. Для нее это была большая честь – положить мне на стол записку, да к тому же даровое развлечение – пройтись во время урока по классу.

Читать записку при всех мне было неловко, а прочитать хотелось: интересно знать, о чем пишут друг другу двенадцатилетние люди. Я сунул записку в карман.

– Э тю прэ кри Мари а сон фрер Эмиль, – читал Державин.

– Переведи, – сказал я, незаметно вытащил под стол записку и стал тихо разворачивать: она была свернута, как заворачивают в аптеках порошки.

– «Ты готов? – кричит Мария своему брату Емеле...»

– Не Емеле, а Эмилю, – поправил я.

– Эмилю... Нон, Мари...

Я развернул наконец записку: «Дубова Тома, я тебя люблю, но не могу сказать, кто я. Писал быстро, потому плохо. Коля».

Теперь понятно, почему этот известный неизвестный каждый раз лазит под потолок.

Мне вдруг стало грустно. Подумал, что им по двенадцати и у них все впереди. А у меня все на середине.

– Садись, – сказал я Державину.

Я встал и начал рассказывать о французском языке вообще – не о глагольных формах, а о том, что мне самому интересно: о фонемоидах, о том, почему иностранец, выучивший русский язык, все равно говорит с акцентом; о художественном переводе, о том, как можно одну и ту же фразу перевести по-разному. Я читал им куски из «Кола Брюньона» в переводе Лозинского. Читал Рабле в переводе Любимова.

Мои дети первый раз в жизни слушали Рабле, а я смотрел, как они слушают: кто подперев кулаком подбородок, кто откинувшись, глядя куда-то в окно, залитое небом. Дубова ела меня глазами, следила, как движутся мои губы. Павлов смотрел мне прямо в лицо: в первый раз он глядел не сквозь меня.

Передо мной сидели тридцать разных людей, раньше все они казались мне похожими друг на друга, как полтинники, и я никого не знал по имени, кроме Собакина и Дубовой.

Потом мы вместе стали переводить первую фразу из заданного параграфа: «C'est le matin», и получилось, что эти три слова можно перевести в трех вариантах: «вот утро», «это утро» и просто «утро».

В конце урока я вызвал Павлова – мальчика, над которым все смеются. В каждом коллективе есть свой предмет для насмешек. В пятом «Б» это Павлов, хотя он не глупее и не слабее других.

Помня о фонемоидах, Павлов старался произносить слова в нос: хотел продемонстрировать такое произношение, чтобы француз не обнаружил в нем иностранца. Я не понимал ни слова, потому что он ухитрялся произносить в нос не только гласные, но и согласные.

Дети переводили глаза с меня на Павлова, с Павлова на меня. Я сидел непроницаем, как сфинкс, – они решили, что Павлов читает правильно. И не засмеялись.

Зазвенел звонок. Это Пантелей включил электрические часы. Мне показалось, что Пантелей рано их включил. Я сверил со своими – все было правильно. Урок кончился, а я не успел объяснить *imparfait* глаголов первой группы, не успел опросить двоечников.

Это значит отставание от программы; это значит высокий процент неуспеваемости; это значит будет о чем поговорить на педсовете.

На перемене я иду в столовую. Мне надо прежде зайти в учительскую, положить журнал. Но идти туда я не хочу, потому что встречу завуча или директора.

В столовой завтракает «продленный день». Возле буфета – очередь: девчонки и мальчишки тянут пятаки, каждый мечтает о пирожке с повидлом.

Я люблю наблюдать детей в метро, на улице, в столовой, но не на уроке. На уроке я испытываю так называемое сопротивление материала.

Я хотел взять сосиски с капустой, но в это время в столовую вошла завуч Вера Петровна.

Я не умею правильно есть сосиски: люблю их кусать, чтобы кожа хрустела. Такая манера есть не соответствует светскому этикету, а обнаруживать перед завучем свою

несветскость мне не хотелось.

Тем не менее я беру сосиски и иду к столу.

В обществе Веры Петровны я чувствую себя сложно. Семьи у нее нет, работает она хорошо – в этом смысл ее жизни. Семьи у меня тоже нет, работаю я плохо – и смысл моей жизни, если он есть, не в этом.

Для Веры Петровны нет людей умных и глупых, сложных и примитивных. Для нее есть плохой учитель и хороший учитель.

Я – плохой учитель. Перед ней я чувствую себя несостоятельным и поэтому боюсь ее. Я обычно стараюсь дать ей понять, что где-то за школьными стенами проходит моя иная, главная жизнь. И в той жизни я куда более хозяин, чем остальные учителя, которые не читают Рабле не то что в подлиннике, но и в переводе Любимова.

Сегодня я ничего не давал понять. Я ел сосиски прямо с кожицей, ждал, когда Вера Петровна начнет говорить о моем опоздании.

– Слякоть, – сказала она, глянув в окно. – Скорее бы зима...

Я промолчал. Мне вовсе не хотелось, чтобы зима приходила скорее, потому что у меня нет зимнего пальто. Кроме того, я понимал, что «слякоть» – это проявление демократизма. Это значило: «Вот ты опаздываешь, халтуришь, а я с тобой как с человеком разговариваю».

Я молчал. Вера Петровна блуждала ложкой в супе.

– Скажите, Валентин Николаевич, – начала она тихим семейным голосом, – вы после института пошли работать в школу... Вы так хотели?

– Нет, я хотел поехать в степь.

Я действительно хотел тогда поехать в степь.

Не для того, чтобы внести свой вклад, – его и в Москве можно внести. Не для того, чтобы наблюдать жизнь, – ее где угодно можно наблюдать.

Мне хотелось в другие условия, потому что, говорят, в трудностях раскрывается личность. Может, вернувшись потом в Москву, я стал бы переводить книги и делал бы это не хуже, чем Лозинский. Может, во мне раскрылась бы такая личность, что Вера Петровна просто ахнула.

Но, кроме всего, мне хотелось посмотреть, какая она, степь, и познакомиться с людьми, которые живут там, работают и обходятся без московской прописки.

– В какую степь? – не поняла Вера Петровна. – В казахстанскую?

– Можно в казахстанскую, можно и в другие.

Вера Петровна, наверное, подумала, что я ее разыгрываю и что это неуместно.

– Что ж вы не поехали? – строго спросила она.

Теперь придется объяснять, что у меня очень больная мама, от которой ушел папа. И придется рассказать про Нину, которая к тому времени, когда меня распределяли, не закончила еще своего высшего образования, а заканчивает только в этом году.

– Я нужен был в Москве.

– Кому?

Вера Петровна думала, что я скажу – пятому «Б».

– Двум женщинам, – сказал я.

Завуч стала быстро есть суп. Она решила не задавать больше вопросов на посторонние темы, потому что неизвестно, о чем я еще захочу ей рассказать в порыве откровенности. Вера Петровна решила говорить только о деле.

– Вот вы сегодня опять опоздали, – начала она. – За эту неделю третий раз.

– Четвертый, – поправил я.

– Вам не стыдно?

Я задумался. Сказать, что совсем не стыдно, я не мог, стыдно – тоже не мог.

– Не очень, – сознался я.

– А напрасно. Вы понимаете, что это такое? Был звонок. Вас нет, дети волнуются...

– Что вы! – возразил я. – Наоборот, они думают, что я заболел, и очень рады.

Вера Петровна посмотрела на меня внимательно и вдруг смутилась. Наверное,

подумала, что я кокетничаю с ней. Это было приятно ей, хоть я и плохой учитель. А я, когда она покраснела, впервые увидел, что она еще молода и вовсе не так самоуверенна.

– Скажите, – спросила она, – неужели у вас нет большой мечты? – Это был уже не наводящий вопрос. Это был простой человеческий вопрос.

– Есть. Я хочу писать рассказы.

– Почему же не пишете?

– Я пишу, но их не печатают.

– Почему? – изумилась она.

– Говорят, плохие.

– Не может быть. У вас должны быть хорошие рассказы.

Вот всегда так. Во мне всегда подозревают больше, чем я могу. Еще в детстве, когда я учился играть на рояле, учительница говорила моей маме, что я способный, но ленивый. Что если бы я не ленился, то из меня вышел бы Моцарт. А я точно знаю, что Моцарт бы из меня не вышел при всех условиях.

Во время нашего разговора в столовую вошла учительница начальных классов Кудрявцева. Она молчит, в разговоре не участвует, обдумывает предстоящий урок. Так хороший актер перед спектаклем входит в образ.

Появилась учительница пения Лидочка.

Она мечтает стать киноактрисой и свою работу в школе считает временной; знакома со многими знаменитыми писателями, артистами, и когда рассказывает о них, то называет: Танька, Лешка.

Пришел наш второй мужчина – учитель физкультуры Евгений Иваныч, или, как его фамильярно зовут ученики, Женечка.

Меня ученики зовут «шик мадера», а Женечку «тюлей». Он считает меня размазней, интеллигентом, скучным человеком, потому что я не поддерживаю за столом Лидочкиных изысканных тем. Женечка понимает толк в стихах, любит народные песни, но стесняется обнаружить это. Ему нравится казаться хуже, чем он есть.

Мне нравится казаться лучше, чем я есть, Лидочке – талантливее.

Я редко встречаю людей, которые хотят казаться тем, что они есть на самом деле.

В конце перемены, перед самым звонком, является наш третий мужчина (всего, включая Пантелея, нас четверо), учитель физики Александр Александрович, или, как зовут его дети, Сандя.

Санде пятьдесят лет. Он любит говорить, что всех своих врагов нажил честно. Это правда. Сандя никого не боится, и, для того чтобы говорить правду, ему не надо постоять во сне между двух радуг. Сандя «режет» эту самую правду направо и налево. Он постоянно всем недоволен. И часто он прав. Но вместе с тем я всегда чувствую, что его больше всего интересует собственная персона. Я знаю, он подсчитывает, сколько съел за день жиров, белков и углеводов. Если углеводов не хватает, Сандя в конце дня съедает кусочек черного хлеба.

Сейчас он пил кофе с бутербродами, которые принес из дому. Ел бутерброд с икрой – в ней много белков – и на чем свет поносил новый фильм.

Фильм был на самом деле плохой, но я чувствовал, что Сандя врет.

– Послушайте, – поинтересовался я, – зачем вы врете?

Сандя на минуту перестал жевать. За столиком рассмеялись, потому что все видели фильм «Знакомьтесь, Балувев».

– С вами сегодня невозможно серьезно разговаривать, – сказала Вера Петровна и поправила волосы.

Зазвенел звонок. Пантелей исправно нес службу. Мне надо было идти в девятый «А».

У нашей школы есть «преимущество» перед другими школами в районе – рядом колхозный базар. В других школах лучшие показатели по успеваемости и посещаемости, а возле нашей – базар. Я пользуюсь этим преимуществом, чтобы купить Нине цветы и

виноград. Дарить цветы считается признаком внимания и изысканности, а Нине будет приятно, если я проявлю внимание и изысканность.

Ходить с цветами по улице я стыжусь, поэтому прячу цветы в портфель.

За виноградом очередь метров триста. Если я стану в хвост очереди, тогда мне придется пройти мелкими и редкими шагами эти триста метров, а я тороплюсь к Нине.

Я подхожу прямо к продавщице и говорю ей, протягивая металлический рубль:

– Килограмм глюкозы.

Дальше действие начинает развиваться в двух противоположных направлениях. В кино это называется «параллельный монтаж» и «монтаж по контрасту». У меня одновременно и «параллельный», и «по контрасту».

Продавщица улыбается и начинает взвешивать мне виноград, отбирая спелые гроздья и выщипывая из них гнилые ягоды. Она так делает потому, что я не требую для себя никакого исключения, и потому, что я похож на Смоктуновского.

С другой стороны, мною заинтересовалась очередь, и выразителем ее интересов явился старик, который должен был получать виноград вместо меня и тоже приготовил для этой цели металлический рубль.

– Молодой человек, – строго сказал старик, – я вас что-то здесь не видел...

– Правильно, – подтвердил я. – Вы меня видеть не могли, я только что подошел.

– А вы, между прочим, напрасно обижаетесь, – укоризненно заметил старик. – Если вы отходите, надо предупреждать. В следующий раз дождитесь последнего, а потом уже идите по своим делам.

– Хорошо, – пообещал я.

Я взял виноград и пошел. Очередь энергично выразила свое отношение мне в спину.

Нина живет на улице Горького, за три остановки от рынка. Я мог бы сесть на троллейбус, но иду пешком, потому что у меня опять неудобные деньги: три копейки и пять копеек. Кроме того, троллейбус останавливается на противоположной Нинину дому стороне, а я не люблю переходить дорогу.

Говорят, что я со странностями. Я, например, помногу ем, а все равно худой. Перевожу рассказы с одного языка на другой, хотя об этом меня никто не просит и денег не обещает. Не даю частных уроков, хотя об этом меня просит большое количество людей и обещают по два пятьдесят за час.

Нина говорит, что я тонкая натура и у меня нервы.

Нинин папа – что в двадцать пять лет у человека нервов не бывает.

Нинина мама – что все зависит не от возраста, а от индивидуальных особенностей организма.

К моим индивидуальным особенностям она относится пренебрежительно. Презирает меня за то, что я живу в каком-то Шелапутинском переулке, а не в центре. За то, что я не из профессорской семьи, что у меня нет зимнего пальто, что я не снимаюсь в кино, не печатаюсь в газетах и зарабатываю меньше, чем она.

Чтобы понравиться Нининой маме, я, предположим, мог бы обменять свою комнату на меньшую и переехать на улицу Горького. Мог бы сшить себе хорошее пальто, напечататься в газете. Но заработать больше, чем Нинина мама, я не могу.

Нинина мама работает косметичкой. Дома она приготавливает крем для лица, но не для своего. Себе она покупает крем в польском магазине «Ванда», а тот, что делает, продает клиенткам по три рубля за баночку.

Рецепт изготовления Нинина мама держит в большом секрете – боится, что стоит лишь намекнуть, как все сразу догадаются и тоже захотят сами делать крем.

Я бы, например, смог, потому что знаю секрет. Он прост, как все гениальное. Берется два тюбика разного крема, по пятнадцать копеек за тюбик – можно купить в аптеке, в парфюмерном магазине, можно при банях, в зависимости от того, куда удобнее зайти, чтобы не переходить дорогу. Надо взять два тюбика, выпустить крем из одного, из другого, перемешать палочкой или ложкой – лучше палочкой, потому что ложка будет пахнуть, –

налить немного одеколона для запаха и аккуратно разложить по баночкам. Вот и все.

По-моему, не тяжело, и каждый при желании мог бы заменить Нинину маму на ее посту. Но она имеет на этот счет собственное мнение, отличное от моего. Двигается она с достоинством, кожа у нее белая – польские кремы, говорят, на меду и на лимонах. Собственные мнения, которых у нее много и все разные, высказывает медленно и в нос.

Нинин папа считается в доме на голову ниже мамы. Работает он инженером. Правда, он хороший человек, но, как говорит Нинина мама, хороший человек – не специальность, денег за это не платят.

Я все это понимаю, поэтому хожу к Нине редко – в тех случаях, когда она больна и когда мы ссоримся.

С Ниной мы знакомы пять лет, но наши отношения до сих пор не выяснены. За это время у нас было много хорошего и много плохого.

У меня такое чувство, будто сам Господь Бог поручил мне заботу о ней. И я не знаю, то ли жить без этого не могу, то ли мне это ни к чему. Я до сих пор не знаю, поэтому мы ссоримся. Вчера снова поссорились, и я опять не знаю, так ли необходимо идти к ней с цветами. Но я представляю, как она отрывисто смеется, курит папиросу за папиросой, говорит всем, что наконец-то отделалась от меня, и не спит ночь. И вот я иду к ней после работы, чтобы она перестала курить и спала ночью.

Откровенно говоря, когда мы ссоримся, я начинаю думать о себе хуже, чем это есть на самом деле, а о Нине лучше. Начинаю смотреть глазами Нининой мамы. А мне хочется видеть себя глазами Нины.

* * *

Открыла мне соседка – видно, неправильно сосчитала количество звонков.

В квартире Нины живет восемь семей, и на двери прикреплен списочек всех жильцов в алфавитном порядке. Против каждой фамилии проставлено количество звонков.

Против Нининой фамилии – восемь звонков, потому что начинается она с буквы «Я» и стоит, естественно, последней.

Каждый раз, когда подхожу к двери, я думаю, что если нажимать кнопку редко, пережидая после каждого звонка, то в квартире, как в мультфильме, изо всех дверей в алфавитном порядке будут высовываться головы. Высовываться и слушать.

Я быстро звоню восемь раз. Представляю, как при этом все квартиросъемщики бросают свои дела и начинают торопливо считать, шевеля губами.

Сегодня мне открыла соседка, ее фамилия начинается с буквы «Ш» и стоит в списке перед Нининой. Она часто отпирает мне дверь, и мы хорошо знакомы.

Когда я вошел в комнату, Нина чертила, нагнувшись над столом, с умным видом рисовала кружок. Весь лист величиной с половину простыни был изрисован стрелочками, кружками и квадратиками.

Увидев меня, Нина перестала чертить, выпрямилась и покраснела от неожиданности, от радости, от обиды, которая еще жила в ней после ссоры, и оттого, что я застал ее ненакрашенной.

Моя Нина бывает красивая и некрасивая. Бесцеремонная и застенчивая. Умная и дура. Ее любимый вопрос: «Хорошо это или плохо?» – и каждый раз я не знаю, как ей ответить.

Мать поздоровалась со мной приветливее, чем обычно, и, прихватив соль, ушла на кухню. Я понял – она в курсе наших дел.

Я разделся и сел на диван. Нина снова принялась чертить. Мы молчали.

Она, видно, собиралась сказать мне нечто такое, что бы я понял раз и навсегда, но ждала, когда я начну первый. А я не начинал первый, и это злило ее.

Телевизор был включен. Шла передача «Встреча с песней». За столом сидели действующие лица и их исполнители, вели непринужденную дружескую беседу в стихах.

Время от времени все замолкали, за кадром включали песню – тогда один из артистов принимался старательно шевелить губами. Артист, изображающий летчика, спел подобным образом две песни – одну тенором, а другую басом.

Когда передача закончилась, диктор стал перечислять фамилии тех, кто эту передачу готовил. Я подумал: хорошо бы всей этой компании приснилась ночью радуга.

– Валя! – Нина отложила карандаш. Не выдержала. – Прежде всего я хочу знать, за что ты меня не уважаешь?

Все-таки лучше, если бы она была только умная.

– С чего ты взяла, что я тебя не уважаю?

– Мы договорились в семь. Я ждала до семи пятнадцати, стояла, как не знаю кто... Я не говорю уже о любви, хотя бы соблюдай приличия...

Последнюю фразу Нина придумала не сама, заимствовала ее из немецкого фильма «Пока ты со мной» с Фишером в главной роли...

– Я пришел в семь шестнадцать, тебя не было, – сказал я.

– Почему же ты пришел в семь шестнадцать, если мы договорились в семь?

– Я не мог перейти дорогу: там, возле метро, поворот – и не поймешь, какая машина свернет, какая поедет прямо.

– Ну что ты врешь?

– Я не вру.

– Значит, считаешь меня дурой...

– Иногда считаю.

Нина посмотрела на меня с удивлением. По ее сценарию я должен был сказать: «Брось говорить глупости, я никогда не считал тебя дурой». Тогда бы она заявила: «И напрасно. Я действительно круглая дура, если потратила на тебя лучшие годы своей жизни».

Но я путал карты, и Нине пришлось на ходу перестраиваться.

– И напрасно... – сказала она. – Я все вижу. Все.

Что там она видит? Будто дело в том, пришел я в семь или в семь шестнадцать. Главное, что я не делаю предложения.

– Что ты видишь? – спросил я.

– То, что ты врешь. – Нина побледнела сильнее, наверное, действительно не спала ночь.

– Когда я говорю правду, ты не веришь.

– Ты не думал, что я вчера уйду...

Я понял, Нина решила не перестраиваться, а просто сказать мне все, что приготовила для меня ночью.

– Ты привык, что я тебя всегда жду. Пять лет жду. Но больше я ждать не буду. Понятно?

Вот тут бы надо встать и сделать предложение. Но я молчу.

Где-то в казахстанской степи есть сайгаки – такие звери, похожие на оленей. Я их видел в кино. Сайгаки эти жили еще в одно время с мамонтами, но мамонты вымерли, а сайгаки остались и, несмотря на свое древнее происхождение, бегают со скоростью девяносто километров в час.

Ленька Чекалин рассказывал, как охотился ночью с геологами на грузовике. Если сайгак попадает в свет фар, он не может свернуть, наверное, потому, что ночью степь очень черная и сайгак боится попасть в черноту.

Представляю, что он чувствует, когда бежит вот так, я очень хорошо представляю, поэтому не хотел бы охотиться на сайгака. Но вцепиться в борт грузовика, ощутить всей кожей пространство и видеть в высветленном пятне бегущего древнего зверя я бы хотел.

Если бы меня после института не оставили в Москве, я, может, увидел бы все это своими глазами. Но меня оставили в Москве, и я боюсь, что теперь никуда не поеду. А если женюсь на Нине, то вообще, кроме Москвы и Московской области, а также курортных городов Крыма и Кавказа, ничего не увижу.

Нина ждала, что я отвечу, но я молчал.

– И вообще ты врешь, будто переводишь по вечерам, – грустно сказала она. – Где твои переводы? Хоть бы раз показал...

– Нет никаких переводов. Я по вечерам к Леньке хожу, а иногда в ресторан.

– Я серьезно говорю. – Нина подошла ко мне. – Ты куда-то уходишь, я... ну, в общем, правда, покажи мне свои переводы.

– Да нет никаких переводов, – сказал я серьезно. – Я к Леньке хожу, а тебя не беру, ты мне и так за пять лет надоела. Там другие девушки есть.

Нина засмеялась, села возле меня, и я почувствовал вдруг, что соскучился. Мне даже невероятным показалось, что когда-то я обнимал ее. Нина быстро оглянулась на дверь. Я прижал ее к себе, услышал дыхание на своей шее, подумал – правда.

– Дурак, вот ты кто.

Эту фразу Нина не планировала, и это была ее первая умная фраза. День еще не кончился, и если мне повезет, то я услышу вторую.

В шесть часов пришел отец, и все сели за стол. В последнее время каждый раз, когда я прихожу, меня усаживают обедать.

Разливая суп, Нинина мама переводила глаза с меня на Нину, с Нины – на меня. Ей хотелось понять по нашим лицам, помирились мы или нет.

– Разольешь, – предупредил отец. Он сидел за столом в пижамных штанах, хотя жена каждый раз говорила ему, что это не «комильфо».

Нинина мама так ничего и не поняла по нашим лицам. Пребывать в неизвестности она больше не могла, поэтому спросила:

– Ну как?

Нина покраснела.

– Мама!

– Ну как суп, я спрашиваю. Валя, как вам суп?

Суп был нельзя сказать, чтобы вкусный, но лучше, чем те, которые я ем в школе.

– Ничего, – сказал я.

Нинина мама посмотрела на меня с удивлением, потому что только последний хам может есть и хаять то, что ему дают. Бывают такие положения, в которых говорить правду неприличнее, чем врать. Но сегодня надо мной висела радуга.

– Очень вкусный, мамочка, – быстро сказала Нина.

Это была ее следующая умная фраза. Если так пойдет дело, то сегодня Нина побьет рекорд.

– Валя, вы читали в «Правде», как орлы напали на самолет? – спросил отец.

Вряд ли он спросил это из соображений такта. Просто знал, что следующий вопрос о супе жена предложит ему, за двадцать пять лет совместной жизни он выучил на память все ее вопросы и ответы.

– Читал, – сказал я.

– Что, что такое? – заинтересовалась Нина.

– Летел пассажирский самолет где-то в горах, кажется. А навстречу ему три орла. Один орел разогнался – и прямо на самолет.

– Идиот! – сказала Нинина мама.

– Ну, ну... – Нина нетерпеливо заерзала на стуле.

– Ну и упал камнем с проломленной грудью, а те два улетели, – закончил отец.

– Надо думать, – заметила Нинина мама, которая тоже улетела бы, будь она на месте тех двух орлов. – Только последний дурак бросится грудью на самолет.

– Это хорошо или плохо? – Нина посмотрела на меня.

– Для орла плохо, – сказал я.

– Ничего ты не понимаешь... – Нина стала глядеть куда-то сквозь стену, как Павлов сквозь меня, а я задумался: действительно, хорошо это или плохо? Мог бы я броситься грудью на самолет или улетел, как те два орла?..

– Представляешь, – медленно проговорила Ни-на, – наверное, он решил, что это птица.

Она глядела сквозь стену; в руках забытый кусочек хлеба, лицо растроганное и вдохновенное, глаза светло-зеленые, чистые, будто промытые. Если бы знать, что она может поехать за сайгаками, я согласился бы просидеть в этой комнате всю жизнь и никуда не ездить. Согласился бы каждый день общаться с ее мамой, каждый день встречать в школе Сандю – только бы знать, что Нина может поехать.

Все думали о своем и молчали, кроме Нининой мамы. Она, очевидно, думала о том, сделаю я сегодня предложение или нет, а вслух рассказывала про соседа, который ушел от жены к другой женщине, несмотря на ребенка, язву желудка и маленькую зарплату.

Фамилия этого человека начиналась с буквы «А», звонить ему надо было один раз, поэтому в лицо я его не видел. А жену видел и на месте соседа тоже не посмотрел бы на язву желудка и на маленькую зарплату.

– Прожить десять лет... как вам это нравится?! – возмущалась Нинина мама.

– Мне нравится, – сказал я. – На месте вашего соседа я бы раньше ушел.

Нина засмеялась.

– А как же, по-вашему, ребенок? – поинтересовалась мама.

Отец улыбнулся в тарелку.

– Уходят от жены, а не от ребенка.

Нина снова засмеялась, хотя я ничего смешного не сказал.

– Но ведь существуют... – Нинина мама стала искать подходящие слова. Мне показалось, я даже услышал, как закрипели ее мозги.

– Нормы, – подсказал отец.

– Нормы, – откликнулась Нинина мама и испуганно посмотрела на меня.

Я должен был бы сказать, что, конечно, существуют нормы и долг порядочной женщины строго их соблюсти. Но я сказал:

– Какие там нормы, если их друг от друга тошнит?

Отец хотел что-то сказать, но тут он подавился и закашлялся.

Жена хотела заметить ему, что это не «комильфо», но только махнула рукой и быстро проговорила:

– Дядя Боря звал в воскресенье на обед. Пойдем?

Значит, меня собираются представить будущим родственникам.

– А сегодня вас дядя не звал? – спросил я.

– При чем тут сегодня? – не понял отец.

– Ни при чем. Просто я жду, может, вы уйдете...

Нина бросила вилку и захохотала, а Нинина мама сказала:

– Вечно эти молодые выдрючиваются.

«Выдрючиваться» в переводе на русский язык обозначает «оригинальничать, стараться произвести впечатление».

Странно, сегодня я целый день только и старался быть таким, какой есть, а меня никто не принял всерьез. Контролерша подумала, что я ее разыгрываю, Вера Петровна – что кокетничаю, старик решил, что я обижаюсь, Нина уверена, что я острою, а Нинина мама – что «выдрючиваюсь».

Только дети поняли меня верно.

Родители ушли. Мы остались с Ниной вдвоем.

Нина, наверное, думала, что сейчас же, как только закроется дверь, я брошусь ее обнимать, и даже приготовила на этот случай достойный отпор вроде: «Ты ведешь себя так, будто я горничная». Но дверь закрылась, а я сидел на диване и молчал. И не бросался.

Это обидело Нину. Поджав губы, она стала убирать со стола, демонстративно гремя тарелками.

Я вспомнил, что у меня в портфеле лежат для нее цветы, достал их, молча протянул.

Нина так растерялась, что у нее чуть не выпала из рук тарелка. Она взяла цветы двумя руками, смотрела на них долго и серьезно, хотя там смотреть было не на что. Потом подошла, села рядом, прижалась лицом к моему плечу. Я чувствовал щекой ее мягкие теплые

волосы, и мне казалось, что мог бы просидеть так всю свою жизнь.

Нина подняла голову, обняла меня, спросила таким тоном, будто читала стихи:

– Пойдем в воскресенье к дяде Боре?

За пять лет я так и не научился понимать ход ее мыслей.

– Денег не будет – пойдем.

– Какой ты милый сегодня! Необычный.

– Не вру, вот и необычный.

Зазвонил телефон. Нинины руки лежали на моей шее, и я не хотел вставать, Нина – тоже. Мы сидели и ждали, когда телефон замолчит.

Но ждать оказалось хуже. Я снял трубку.

– Простите, у вас, случайно, Вали нет? – робко спросили с того конца провода. Я узнал голос Леньки Чекалина.

– Случайно есть, – сказал я.

– Скотина ты – вот кто! – донесся до меня моментально окрепший баритон. Ленька тоже узнал меня. Я вспомнил, что обещал быть у него вечером.

– Здравствуй, Леня, – поздоровался я.

– Чего-чего? – Моему другу показалось, что он ослышался, потому что такие слова, как «здравствуй», «до свидания», «пожалуйста», он позабыл еще в школе.

– Здравствуй, – повторил я.

– Ты с ума сошел? – искренне поинтересовался Леня.

– Нет, просто я вежливый, – объяснил я.

– Он, оказывается, вежливый, – сказал Ленька, но не мне, а кому-то в сторону, так как голос его отодвинулся. – Подожди, у меня трубку рвут... – Это было сказано мне.

В трубке щелкнуло, потом я услышал дыхание, и высокий женский голос позвал:

– Валя!

Меня звали с другого конца Москвы, а я молчал. Врать не хотелось, а говорить правду – тем более.

Сказать правду – значило потерять Нину, которая сидит за моей спиной и о которой я привык беспокоиться. Я положил трубку.

– Кто это? – выдохнула Нина. У нее были такие глаза, как будто она чуть не попала под грузовик.

– Женщина, – сказал я.

Нина встала, начала выносить на кухню посуду.

Она входила и выходила, а я сидел на диване и курил. Настроение было плохое, я не понимал почему: я прожил день так, как хотел, никого не боялся и говорил то, что думал. На меня, правда, все смотрели с удивлением, но были со мной добры.

Я обнаружил сегодня, что людей добрых гораздо больше, чем злых, и как было бы удобно, если бы все вдруг решили говорить друг другу правду, даже в мелочах. Потому что, если врать в мелочах, по инерции соврешь и в главном.

Преимущества сегодняшнего дня были для меня очевидны, однако я понимал, что, если завтра захочу повторить сегодняшний день, – контролерша оштрафует меня, Вера Петровна выгонит с работы, старик – из очереди, Нина – из дому.

Оказывается, говорить правду можно только в том случае, если живешь по правде. А иначе – или ври, или клади трубку.

В комнату вошла Нина, стала собирать со стола чашки.

– Ты о чем думаешь? – поинтересовалась она.

– Я думаю, что жить без вранья лучше, чем врать.

Нина пожала плечами.

– Это и дураку ясно.

Оказывается, дураку ясно, а мне нет. Мне вообще многое не ясно из того, что очевидно Санде, Нининой маме. Но где-то я недобрал того, что очевидно Леньке.

Ленька окончил институт вместе со мной и тоже нужен был в Москве двум женщинам.

Однако он поехал в свою степь, а я нет. Я только хотел.

Пройдет несколько лет, и я превращусь в человека, «который хотел». И Нина уже не скажет, что я тонкая натура, а скажет, что я неудачник.

– Ты что собираешься завтра делать?

– Ломать всю свою жизнь.

Нина было засмеялась, но вдруг покраснела, опустила голову, быстро понесла из комнаты чашки. Наверное, подумала, что завтра я собираюсь сделать ей предложение.

А из нашего окна...

Борису Гороватеру – хорошему человеку.

Молодой режиссер Сергей Тишкин приехал на кинофестиваль. Фестиваль – коротенький и непрестижный. Городок маленький, провинциальный. Да и сам Тишкин – начинающий, неуверенный в себе. Он понимал, что фестиваль – это трамплин, толчок к восхождению. Это место, где соревнуются и побеждают, а заодно оттягиваются по полной программе: пьют и трахаются с молодыми актрисами. Молодые актрисы хотят любви и успеха. Для них фестиваль – шанс к перемене участи.

Сергей Тишкин рассчитывал просто отоспаться. У него родился ребенок. Жена валилась с ног. Сергей подменял ее ночами. Он носил свою девочку на руках, вглядываясь в крошечное личико с воробьиным носиком и полосочкой рта. Она была такая крошечная, такая зависимая...

Если, например, разомкнуть руки, она упадет на пол и разобьется. Значит, она полностью зависит от взрослых и может противопоставить только свою беспомощность. И больше ничего. У Тишкина сердце разрывалось от этих мыслей. Он прижимал к груди свое сокровище и делал это осторожно, трепетно. Даже проявление любви было опасно для крошечного существа.

У жены воспалилась грудь, температура напозала до сорока. Прежняя страсть улетела куда-то. На место страсти опустилась беспредельная забота и постоянный труд, непрекращающиеся хлопоты вокруг нового человечка.

Тишкин думал, что появление ребенка – счастье и только счастье. А оказывается, сколько счастья, столько же и труда. Плюс бессонные ночи и постоянный страх.

Тишкин поехал на фестиваль с чувством тяжелой вины перед женой и дочкой. Он не хотел отлучаться из дома, но жена настояла. Она всегда ставила интересы мужа выше своих. Поразительный характер. При этом она была красивая и самодостаточная. Все данные, чтобы не стелиться, а повелевать. Она любила своего мужа, в этом дело. А если любишь человека, то хочется жить его интересами.

В дом заехала теща, серьезная подмога. Жена и дочка не одни, а с близким человеком. И все же...

Вечером состоялось открытие. Сначала был концерт. Потом банкет. Сидя в ресторане, Тишкин оглядывал столики, отмечал глазами красивых женщин. Просто так. По привычке. Он не исключал короткий левый роман. Не считал это изменой семье. Одно к другому не имело никакого отношения.

Красивые актрисы присутствовали, но за красивыми надо ухаживать, говорить слова, рисовать заманчивые перспективы. А Тишкин все время хотел спать и мог рассматривать женщину как снотворное. Красивые не стали бы мириться с такой малой ролью – снотворное.

Тишкин перестал оглядываться, стал просто пить и закусывать. И беседовать. Но больше слушал: кто что говорит. Говорили всякую хрень. Самоутверждались. Конечно, застолье – это не круглый стол, и не обязательно излагать глубокие мысли. Но хоть какие-нибудь...

К Тишкину подошла Алина, технический работник фестиваля. Она была из местных.

На ней лежала функция расселения.

– Извините, – проговорила Алина. – Можно, я подселю к вам актера Гурина?

– Он же голубой... – испугался Тишкин.

– Что? – не поняла Алина.

– Гомосек. Гей, – растолковал Тишкин.

– Да вы что?

– Это вы «что». Не буду я с ним селиться.

– А куда же мне его девать?

– Не знаю. Куда хотите.

– Я могу его только к вам, потому что вы молодой и начинающий.

– Значит, селите ко мне.

– А вы?

– А я буду ночевать у вас.

– У меня? – удивилась Алина. Она не заметила иронии. Все принимала за чистую монету.

– А что такого? Вы ведь одна живете?..

– Да... Вообще-то... – растерялась Алина. – Ну, если вы согласны...

– Я согласен.

– Хорошо, я заберу вас к себе. Но у меня один ключ. Нам придется уехать вместе.

– Нормально, – согласился Тишкин. – Будете уезжать, возьмите меня с собой.

Алина отошла торопливо. У нее было много дел. Тишкин проводил ее глазами. Беленькая, хорошенькая, тип официантки. Полевой цветок среднерусской полосы. Такая не будет потом звонить и привязываться. Никаких осложнений.

Они уехали вместе. Алина жила в пятиэтажке, в однокомнатной квартире.

Весь город, кроме старого центра, состоял из этих убогих панелей. По швам панели были промазаны черной смолой, чтобы не протекала вода.

Из окна виднелись другие панельные дома – депрессионное зрелище. Если видеть эту картинку каждый день, захочется повеситься. Или уехать в другую страну, где человек что-то значит.

У Алины был раскладной диван и раскладушка.

Вместе разложили диван. До раскладушки дело не дошло.

Какое-то время они не могли разговаривать.

Страсть накрыла Тишкина как тугая волна. Он готов был отгрызть уши Алины. Она вертелась под ним и один раз даже упала с дивана. Тишкин не стал дожидаться, когда она влезет обратно, и тоже рухнул вместе с ней и на нее. На полу было удобнее – шире и ровнее.

Когда все кончилось, они долго молчали, плавали между небом и землей. Потом он что-то спросил. Она что-то ответила. Стали разговаривать.

Выяснилось, что Алине двадцать пять лет. Работает в «Белом доме» – так называется их мэрия. Белый дом действительно сложен из белого, точнее, серого кирпича.

– А друг у тебя есть? – спросил Тишкин.

– Так, чтобы одного – нет. А много – сколько угодно.

– И ты со всеми спишь? – поинтересовался Тишкин.

– Почему со всеми? Вовсе не со всеми...

Тишкин задумался: вовсе не со всеми, но все-таки с некоторыми.

– Каков твой отбор? – спросил он.

– Ну... если нравится...

– А я тебе нравлюсь?

– Ужасно, – созналась Алина. – С первого взгляда. Я тебя еще на вокзале заметила.

Подумала: что-то будет...

Тишкин благодарно обнял Алину. Она вся умещалась в его руках и ногах, как будто была скроена специально для него. И кожа – скользящая, как плотный шелк.

Снова молчали. Тишкин не хотел говорить слов любви и надежды, не хотел

обманывать. И молчать не мог, нежность рвалась наружу. Он повторял: Аля, Аля... Как заклинание.

Когда появилась возможность говорить, она сказала:

– Вообще-то меня Линой зовут.

– Пусть все зовут как хотят. Для меня ты – Аля.

Тишкин улавливал в себе горечь ревности. Он знал, что уедет и больше никогда не увидит эту девушку. Но такой у него был характер. То, что ЕГО, даже на один вечер должно быть ЕГО, и больше ничье.

– Те, кто нравится, – продолжил он прерванный разговор. – А еще кто?

– Те, кто помогает.

– Деньгами?

– И деньгами тоже. Я ведь мало зарабатываю.

– Значит, ты продаешься? – уточнил Тишкин.

– Почему продаюсь? Благодарю. А как я еще могу отблагодарить?

Тишкин помолчал. Потом сказал:

– У меня нет денег.

– А я и не возьму.

– Это почему?

– Потому что ты красивый. И талантливый.

– Откуда ты знаешь?

– Говорили.

– Кто?

– Все говорят. Да это и так видно.

– Что именно?

– То, что ты талантливый. Я, например, вижу.

– Как?

– Ты светишься. Вотходишь в помещение и светишься. А от остальных погребом воняет.

Тишкин прижал, притиснул Алину. Ему так нужна была поддержка. Он не был уверен в себе. Он вошел в кинематограф как в море и не знает: умеет ли он плавать? А надо плыть.

И вот – маленькая, беленькая девушка говорит: можешь... плыви... Он держал ее в объятиях и почти любил ее.

– Ты женат? – спросила Алина.

– Женат.

– Сильно или чуть-чуть?

– Сильно.

– Ты любишь жену?

– И не только.

– А что еще?

– Я к ней хорошо отношусь.

– Но ведь любить – это и значит хорошо относиться.

– Не совсем. Любовь – это зыбко. Может прийти, уйти... А хорошее отношение – навсегда.

– А тебе не стыдно изменять?

– Нет.

– Почему?

– Потому что это не измена.

– А что?

– Это... счастье, – произнес Тишкин.

– А у нас будет продолжение?

– Нет.

– Почему?

- Потому что я должен снимать новое кино.
- Одно другому не мешает...
- Мешает, – возразил Тишкин. – Если по-настоящему, надо делать что-то одно...
- А как же без счастья?
- Работа – это счастье.
- А я?
- И ты. Но я выбираю работу.
- Странно... – сказала Алина.

Они лежали молча. Комнату наполнил серый рассвет, и в его неверном освещении проступили швы между стенами и потолком. Было видно, что одно положено на другое. Без затей.

– С-сука Каравайчук, – проговорила Алина. – Не мог дать квартиру в кирпичном доме...

- Каравайчук – женщина? – не понял Тишкин.
- Почему женщина? Мужчина.
- А ты говоришь: сука.
- Высота два пятьдесят, буквально на голове. А в кирпичных – два восемьдесят...
- А с Каравайчуком ты тоже спала?
- Дал квартиру за выселением. Сюда было страшно въехать...

Тишкин поднялся и пошел в туалет. Туалет был узкий, как будто сделан по фигуре. На стене висел портрет певца Антонова.

Тишкин понимал, что у Алины испортилось настроение, и понимал почему. Отсутствие перспектив. Женщина не может быть счастлива одним мгновением. Женщина не понимает, что мгновение – тоже вечность.

Тишкин вернулся и спросил:

- Ты что, не любишь Антонова?
- Почему?

– А что же ты его в туалет повесила?

– Там штукатурка облупилась. Я, конечно, наклеила обои. Но это бесполезно. Все равно, что наряжать трупака.

– Кого?

– Покойника... Этот дом надо сбрить, а на его месте новый построить. А еще лучше взорвать тротилом...

– Что ты злишься?

Тишкин залез под одеяло, ощутил тепло и аромат цветущего тела.

Хотелось спать, но еще больше хотелось любви. Тишкин осторожно принялся за дело.

– Я у подруги была в Германии, город Саарбрюкен. – Алина игнорировала его прикосновения, переключилась на другую волну. – Она туда уехала на постоянное проживание. Замуж за немца вышла. Так там лестница – часть апартаментов. Ручки золотые...

– Медные, – уточнил Тишкин.

– Там все для человека...

– Ты хочешь в Германию? – спросил Тишкин.

– Куда угодно. Только отсюда. Я больше не могу это видеть. Кран вечно течет... В раковине след от ржавой воды. И так будет всегда.

Стало слышно, как тикают настенные часы на батарееках.

– Перестань, – сказал Тишкин. – Все хорошо.

– Что хорошего?

Ночь была волшебной. Но уже утром все кончится. А через три дня Тишкин уедет, канет с концами. Он светится талантом, но не для нее. И его нежность и техника секса – тоже не для нее. Что же остается?

– Вон какая ты красивая... И молодая. У тебя все впереди, – искренне заверил Тишкин.

– Ну да... Когда мне было пятнадцать – все было впереди. Сейчас двадцать пять – тоже впереди. Потом стукнет пятьдесят – молодая старуха. И что впереди? Старость и смерть. Чем так жить, лучше не жить вообще...

– Дура... – Тишкин обнял ее.

Алина угнездила голову на его груди. Они заснули, как будто провалились в черный колодец.

Проснулись к обеду. Часы на стене показывали половину второго.

– Меня убьют, – спокойно сказала Алина.

Отправилась в ванную. Вышла оттуда – собранная, деловая, чужая.

Быстро оделась. Накрасила глаза.

Было невозможно себе представить, что это она всю ночь обнимала Тишкина и принадлежала ему без остатка. Алина стояла храбрая и независимая, как оловянный солдатик. И не принадлежала никому.

Тишкин получил главный приз фестиваля. Жюри проголосовало единогласно. Критики отметили «свежий взгляд», новый киноязык и что-то еще в этом же духе. Тишкин стоял на сцене и искал глазами Алину. Но она исчезла. Где-то бегала. Участники фестиваля приезжали и уезжали в разные сроки. Надо было кого-то отправлять, кого-то встречать.

Тишкин стоял на сцене торжественный и принаряженный и действительно светился от волнения. Несмотря на то что фестиваль был маленький и непрестижный, страсти кипели настоящие.

Матерый режиссер Овечкин, которому прочили главный приз (иначе он бы не поехал), сидел с каменным лицом. Он пролетел, и, как полагал, несправедливо. Получалось, что победила молодость. Пришли другие времена, взошли другие имена. И вот это было самое обидное.

Овечкину было пятьдесят два, Тишкину – двадцать семь. Объективная реальность. Дело, конечно, не в возрасте, а в мере таланта. И в возрасте.

Когда-то четверть века назад он так же ярко ворвался в кино, и критики талдычили: новый взгляд, глоток свежего воздуха... Но это было двадцать пять лет назад...

У Овечкина было прошлое, а у Тишкина – настоящее и будущее.

Было понятно, что фестиваль окончится, все разъедутся и забудут на другой день. И то, что сейчас кажется жизненно важным, превратится в сизый дым.

Миг победы – это только миг. Но и миг – это тоже вечность.

Тишкин стоял на сцене и был счастлив без дураков. Ему еще раз сказали: плыви! И он поплывет. Он будет плыть, не щадя сил. В него поверили критики, коллеги, профессионалы. Значит, и он обязан верить в себя. Это его первый «Первый приз». А впереди другие фестивали, в том числе Канны, Венеция, Берлин. И он будет стоять в черно-белом, прижимая к груди «Оскара», «Льва», «Золотую розу»...

После закрытия Тишкин позвонил домой. Сообщил о победе. Жена поднесла трубку дочери, и дочка в эту трубку подышала. Ее дыхание пролилось на сердце Тишкина как сладкая музыка. Он ничего не мог сказать и только беспомощно улыбался.

Прошло четыре года. Перестройка длилась и уткнулась в дефолт. Страна шумно выдохнула, как от удара под дых.

Тишкин снял еще один фильм. Всего один за четыре года. Государственное финансирование прекратилось, как и прекратилось само государство. Жить по-старому не хотели, а по-новому не умели. Кто успел, тот и съел. А кто не успел – моргали глазами, как дворовые собаки, и ждали неизвестно чего.

Чтобы провести озвучание, Тишкину пришлось продать машину. Артисты работали бесплатно, из любви к искусству. Иногда хотелось все бросить, не тратить силы и идти ко дну. Но Тишкин плыл, плыл до изнеможения и наконец ступил на берег. Фильм был закончен.

Это был фильм о любви. О чем же еще... Снимать на злобу дня он не хотел, поскольку все дружно и разом кинулись снимать на злобу дня и даже появился термин «чернуха». Все

стали отрывные и смелые.

Раньше модно было намекать, держать фигу в кармане. А нынче модно было вытащить фигу и размахивать ею во все стороны. Конъюнктура поменялась с точностью до наоборот.

Тишкин брезгливо презирал любую конъюнктуру. Ему захотелось напомнить о вечных ценностях. Он и напомнил.

Принцип Тишкина-режиссера состоял в том, чтобы ИНТЕРЕСНО рассказать ИНТЕРЕСНУЮ историю. У него именно так и получилось. Монтажницы и звукооператоры смотрели затаив дыхание. Фильм затягивал, держал и не отпускал.

А дальше – тишина. Прокат оказался разрушен. Фильм приобрели какие-то жулики из Уфы. Они предложили Тишкину проехаться по России с показом фильма. За копейки, разумеется. Мало того что Тишкин снял фильм за свои деньги, он еще должен был набивать чужой карман.

Жена собирала чемодан. Дочка выполняла мелкие поручения: принести расческу, зубную щетку и так далее.

Семейная жизнь Тишкина продолжалась, как продолжается море или горы. Точечные изменения ничего не меняли и ничему не мешали.

Случайных подруг Тишкин рассматривал как отвлечение от сюжета внутри сюжета. А сам сюжет сколочен крепко, как в талантливом сценарии.

Алина из маленького городка осталась в его сознании и подсознании. Он даже хотел ей позвонить. Но что он ей скажет? «Здравствуй» и «до свидания»... Для этого звонить не стоит. Уж лучше кануть во времени и пространстве.

Тишкин приехал с фильмом в маленький городок, где когда-то проводился фестиваль. Главная достопримечательность городка – мужской монастырь.

Тишкин бродил по исторической застройке, и ему все время казалось, что сейчас из-за угла выйдет Алина.

Из монастыря выбегали молодые парни в рясах. Здесь размещалась семинария. Никакого смирения в них не наблюдалось. Молодые румяные лица, крепкие ноги, энергия во взоре. И, глядя на семинаристов, хотелось сказать: «Хорошо-то как, Господи...» И в самом деле было хорошо. Ветер разогнал облака, проглядывало синее небо. И небо тоже было молодым и новеньким.

Когда-то здесь бродили бояре в неудобных одеждах, сейчас стоит Тишкин в кроссовках и короткой курточке. Он попал во временной поток. Через пятьдесят лет поток смоеет Тишкина, придут новые люди. Но и их смоеет. И так будет всегда.

Кто все это запустил? Бог? Но откуда Бог? Его ведь тоже кто-то создал?

Тишкин вышел из монастыря. Остановил машину и отправился на улицу Чкалова. Он хорошо запомнил улицу и дом, где жила Алина.

А вдруг она вышла замуж за Каравайчука? Все-таки четыре года прошло. Не будет же она сидеть и ждать у моря погоды.

Тишкин вылез возле ее дома. Нашел автомат.

– Да, – спокойно отозвалась Алина.

– Привет. Ты меня узнаешь?

Тишкин слышал, как в его ушах колотится его собственное сердце.

– Ты откуда? – без удивления спросила Алина.

– Из Америки.

– А слышно хорошо. Как будто ты рядом.

– Ты вышла замуж? – спросил Тишкин. Это был основной вопрос.

– За кого?

– За Каравайчука, например...

– А... – без интереса отозвалась Алина. – Нет. Я одна.

– Хорошо, – обрадовался Тишкин.

– Очень... – Алина не поделила его радости.

– Ладно. Я приду, поговорим, – закрутился Тишкин.

Он положил трубку и отправился в магазин. Деньги у него были. Тишкин купил все, что ему понравилось. Вернее, все, что съедобно.

Лифта в доме не было. Тишкин пошел пешком. Когда поднялся на пятый этаж, сердце стучало в ушах, в пальцах и готово было выскочить из груди.

Он позвонил в дверь. Послышались шаги.

– Кто? – спросила Алина.

Он молчал. Не мог справиться с дыханием.

Алина распахнула дверь.

– Господи... – проговорила. – Ты откуда?

– Из Америки, – сказал Тишкин.

Они стояли и смотрели друг на друга.

Ее лицо было бледным и бежевым, как картон. На голове косынка, как у пиратов в далеких морях. Она похудела, будто вышла из Освенцима. Перед Тишкиным стоял совершенно другой человек.

– Изменилась? – спросила Алина.

– Нет, – наврал Тишкин.

– А так?

Алина сняла косынку, обнажив голый череп. Он поблескивал, как бильярдный шар.

– Как это понимать? – оторопел Тишкин.

– Меня химили и лучили. Все волосы выпали. Но они вырастут. Врачи обещают.

– Вырастут, куда денутся...

– Проходи, если не боишься.

Тишкин шагнул в дом. Стал раздеваться.

– А чего мне бояться? – не понял он.

– Ну... рак все-таки. Некоторые боятся заразиться. Ко мне никто не ходит. Да я никого и не зову. В таком-то виде...

Они прошли в комнату. Сели в кресла.

– Рассказывай, – спокойно велел Тишкин.

– А чего рассказывать? Я оформлялась в поездку. Во Францию. Заодно решила пройти диспансеризацию. Врач сказал: «Никуда не поедете. У вас рак». А я ему: «Фиг с им, с раком». Очень хотелось в Париж.

– Раньше ты хотела в Германию, – заметил Тишкин. Надо было что-то сказать. Но что тут скажешь?

– Сейчас уже никуда не хочу. Операция была ужасная. Я думала: грудь срежут, и все дела. А они соскоблили половину тулова, под мышкой и везде. Теперь руку не поднять.

– Это пройдет...

– Ага... Пройдет вместе со мной. Я договорилась с Маринкой: когда я помру, пусть придет, мне ресницы покрасит. На меня ненакрашенную смотреть страшно.

– Не умрешь, – пообещал Тишкин.

– Ага... У меня мать от этого померла. И бабка. Наследственное. Почему это они умерли, а я нет?

– Потому что медицина сильно продвинулась вперед. Сейчас другие препараты. Выживаемость девяносто процентов.

– А ты откуда знаешь?

Алина впиалась в него глазами.

– Это известно. – Тишкин сделал преувеличенно честные глаза. – Наука движется вперед. К тому же Интернет. Все со всеми связаны. Сейчас можно лечиться заочно. Наберешь по Интернету самого продвинутого специалиста и возьмешь консультацию.

– Бесплатно?

– Вот это я не знаю. Думаю, бесплатно. Какие деньги по Интернету...

Алина задумалась.

Постепенно Тишкин привыкал к ее новой внешности. Она была красива по-своему:

худая и стройная, как обточенная деревяшка. Страдания сделали лицо одухотворенным. Молодость проступала сквозь болезнь.

Алина верила каждому его слову. Она была по-прежнему наивна и доверчива, как раненая собака.

Тишкин взял ее руку и стал целовать. Жалость и нежность искали выхода. Он целовал каждый ее пальчик. Ногти были детские, постриженные.

– Тебе не противно? – спросила Алина. – Ты не боишься, что рак на тебя переползет?

– Он не переползает. И потом, его нет. Его же отрезали...

– Да? – уточнила Алина. – Действительно...

Настроение у нее заметно улучшилось.

– Хочешь поесть что-нибудь? Если не боишься, конечно.

Тишкин принес пакет из прихожей. Вытащил на стол коньяк, фрукты, ветчину, шоколад.

– А у меня вареная курица есть.

Алина вытащила одной рукой кастрюлю. Поставила на плиту.

– Не трогай ничего, – запретил Тишкин. – Я сам за тобой поухаживаю.

Он стал накрывать на стол. У него это ловко получалось.

Алина сидела, кинув руки вдоль тела. Смотрела.

– Что у тебя в жизни еще? – спросил Тишкин.

– Рак.

– А кроме?

– Ты говоришь как дилетант. Кроме – ничего не бывает.

– Ну все-таки... Какая-то мечта.

– Сейчас у меня мечта – выжить. И все. Каждый прожитый день – счастье. Если бы меня поставили на подоконник десятого этажа, сказали: «Стой, зато будешь жить», – я бы согласилась.

– Не говори ерунды.

– Это не ерунда. Я утром просыпаюсь, слышу, как капает вода из крана. Это жизнь. В раковине желтое пятно от ржавчины. Я и ему рада. За окном зима. Люди куда-то торопятся. Я их вижу из окна. Какое счастье... Я согласилась бы жить на полустанке, смотреть, как мимо бегут поезда, спать на лавке, накрываться пальто. Только бы видеть, слышать, дышать...

– Садись за стол, – скомандовал Тишкин. – То на подоконнике, то на полустанке...

– Ты не понимаешь, – возразила Алина. – Говорят, что душа бессмертна. Но мне жаль именно тела. Как оно без меня? Как я без него?

Алина смотрела расширившимися глазами.

– Все будет нормально, – серьезно сказал Тишкин. – И ты с телом. И тело с тобой. Давай выпьем.

– Мне немножко можно, – согласилась Алина. – Даже полезно. Организм, говорят, сам вырабатывает алкоголь.

Они выпили. Тишкин положил на хлеб ветчину. То и другое было свежим.

– Откуда в провинции свежая ветчина? – удивился Тишкин.

– У нас деревенские сами готовят и в магазин сдают.

– Фермерское хозяйство, – сказал Тишкин. – Как в Америке...

Они ели и углубленно смотрели друг на друга.

– Как же ты одна? – произнес Тишкин. – Почему возле тебя нет близких?

– А где я их возьму? Я сирота. Да мне и не надо никого, одной лучше. Что толку от подруг? Пожалуют притворно, а по большому счету всем до болтов. Будут рады, что рак не у них, а у меня.

– Хорошие у тебя подруги...

– Умирать легче с посторонними. Они нервы не мотают. Ты их нанял, они делают работу.

- А деньги у тебя есть?
- Пока есть. Каравайчук дал.
- Молодец. Хороший человек.
- У города спер, мне дал. Считаю, социальная поддержка.
- Мог бы спереть и не дать, – заметил Тишкин.

В окно ударилась птица.

- Плохой знак, – испугалась Алина.
- Плохой, если бы влетела. А она не влетела.

Помолчали.

- Ты меня помнила? – спросил Тишкин.
- А как ты думаешь?
- Не знаю.

– Ты единственный человек, с кем мне было бы не страшно умереть. Я легла бы возле тебя и ничего не боялась.

Это было признание в любви.

Тишкин поднялся. Подошел к ней. Алина встала ему навстречу. Обнялись. Он прижал ее всю-всю... Потом сказал:

- Давай ляжем...
- Одетыми. Хорошо?
- Как хочешь.
- Да. Так хочу. Чтобы рак не переполз.
- Он не ползет. Он пятится.

Они легли на диван. Одетыми. Тишкин нежно гладил ее острые плечи, руки, лицо. Он любил ее всей душой – жалел, желал, протестовал против ее судьбы. Зачем понадобилась Создателю эта невинная жизнь, такая молодая, такая цветущая...

Тишкин ласкал тихо, осторожно, боясь перейти какую-то грань.

Никогда прежде он не испытывал такой надчеловеческой остроты и нежности.

- Я тебя не брошу, – сказал Тишкин.
- Я тебя брошу, – ответила Алина.
- Почему?
- Потому что я умру.
- Этого не будет. Я этого не хочу.
- Дело не в тебе.
- Во мне. Ты меня мало знаешь.

Алина приподнялась и посмотрела на Тишкина. А вдруг...

Тишкин честно встретил ее взгляд.

– Ты никогда не умрешь, – поклялся он. – Ты будешь жить дольше всех и лучше всех. Ты будешь здоровая, счастливая и богатая.

Алина опустила на подушку.

– Говорят, тело временно, а душа бессмертна, – проговорила она. – Наоборот. Тело никуда не девается, просто переходит в другие формы. А вот душа...

Тишкин задумался над ее словами. И вдруг уснул.

Они спали долго: остаток ночи и половину следующего дня.

Тишкин никуда не торопился. Просмотр должен был состояться довольно поздно, в каком-то Доме культуры.

Тишкин успел сделать влажную уборку. Протирал от пыли все поверхности, включая карнизы.

- Ты хорошо ползаешь по стенам, – одобрила Алина. – Как таракан.

Прошли годы. Тишкину исполнилось сорок лет. Он их не праздновал. Говорят, плохая примета.

Сорок лет, а он так и оставался в начинающих, подающих надежды. Уже вылезли из-под земли новые начинающие, двадцатисемилетние режиссеры. Они открывали новую

эру, а Тишкин начинал вянуть, не успев расцвести.

Новые времена оказались хуже, циничнее прежних. Раньше был идеологический барьер, теперь – финансовый. Есть деньги – иди и снимай что хочешь и как хочешь.

А нет денег – сиди дома. Тишкин и сидел.

Дочке исполнилось 13 лет. Готовая девица. Любила петь и переодеваться. И еще она любила своих папу и маму. А папа и мама любили ее. Иначе просто не бывает.

Тишкин мечтал снять кино по Куприну. Его литература была абсолютно кинематографичной, просилась на экран.

Куприн – несправедливо забытый, с крупными гениальности, сильно пьющий, безумно современный. Типично русский писатель.

Тишкин взял несколько его рассказов, перемешал их, как овощное рагу, и сделал новую историю. Он знал, как это снимать. Будущий фильм снялся ночами. Не давал жить.

Фильм – дорогой. Костюмы, декорации, хорошие актеры. Снимать дешево – значит провалиться. Требовалось полтора миллиона. А где их взять? Государство не давало. У государства – свои игры. Свой бизнес. Кому нужен выпавший из обоза Тишкин? Он, конечно, подавал надежды – хорошо. Любит семью – прекрасно. Хороший парень. И что? Мало таких хороших парней, голодных художников? Барахтайся сам как хочешь.

Жена Лена оказалась добытчицей. Из тихой девочки превратилась в тихий танк. Вперед и только вперед. При этом – бесшумно.

Работала в турагентстве. Зарабатывала на жизнь. Отсылала домочадцев в Турцию и Грецию. Они возвращались загорелые и веселые. Последнее время ездить стало стрёмно: тут землетрясение, там цунами, и в довершение – террористические акты. Но Россия – страна непуганых дураков. Ездят, ничего не боятся. Авось пронесет. Турагентство крутилось на полную катушку.

В этом году Лена решила отправить мужа в Израиль, на Мертвое море. Концентрация соли – убойная. Соль вытягивает из человека все воспаления. Грязь делает чудеса. Муж дороже денег. Зачем тогда зарабатывать, если не тратить.

Лена заказала путевку в отель с названием «Лот». Тот самый библейский Лот, который проживал с семьей в Содоме и Гоморре.

Тишкин летел три часа. Потом ехал через весь Израиль на маленьком автобусе, типа нашей маршрутки. Маршрутка в дороге сломалась. Ждали, когда пришлют другую машину. Шофер-бедуин слушал музыку. Туристы сидели и ждали, как бараны. Тишкин с горечью отметил, что везде бардак. Бедуин обязан был проверить машину перед рейсом. Но не проверил. Сейчас сидит, нацепив наушники, и качает в такт круглой семитской башкой. Один из русских туристов вознамерился набить бедуину морду, но другие отговорили. Сказали, что здесь это не принято. Явятся полицейские и оштрафуют либо вообще задержат. И отпуск пойдет насмарку. Бедуин не стоит таких затрат.

Бедуин продолжал слушать музыку. Он не понимал русский язык. Но напряжение передалось, и он стал выкрикивать что-то агрессивное на непонятном языке. Похоже, он матерился.

Стремительно темнело. Тишкин сидел и размышлял: бардак налицо, но законы свирепые. И законы работают в отличие от нашей страны.

К отелю подъехали поздно. Ужин стоял в номере. Тишкин подошел к окну. Море подразумевалось, но было неразлично в бархатной черноте.

На другом берегу переливалась огнями Иордания, как будто кинули горсть алмазов.

– А из нашего окна Иордания видна, – сказал себе Тишкин. – А из вашего окошка только Сирия немножко...

Бархатный сезон был на исходе, самый конец октября. Публика – золотой возраст, а попросту старики и старухи. Днем они стояли в море под парусиновым навесом и громко галдели, как гуси. Преобладала русская речь. Выходцев из России называли здесь «русские».

Русские стройным хором постановили, что стареть лучше в Израиле: государство заботится, хватает на еду и даже на путешествия. Но единственное, что угнетает: постоянные

теракты. У какой-то Фиры погиб сын! И они боятся увидеть Фиру. Зачем тогда эта Земля обетованная, если на ней гибнут дети...

Тишкин научился передвигаться в воде вертикально, делая ногами велосипедные движения. Море держало, позвоночник разгрузился, солнце просеивало лучи сквозь аэрозольные испарения. Вокруг, сверкая, простиралось Мертвое море, тугое, как ртуть. В этом месте оно было неширокое. На берегу Иордании можно было разглядеть отели и даже маленькие строения, типа гаражей.

Тишкина распирали восторг и свобода. Он знал, что через две недели все кончится. Он вернется в Москву, зависнет в неопределенности, как муха в глицерине. Куприн вопьется в мозги, подступят унижения: ходить, просить, доказывать. Но это будет не скоро. Впереди пятнадцать дней, каждый день – вечность. Значит, пятнадцать вечностей.

Тишкин болтался, как поплавок, на полпути в Иорданию. Если захотеть, можно дошагать велосипедными движениями. Здесь ходу сорок минут.

Если повернуться лицом к берегу – библейский пейзаж. Бежевые холмы лежат как сфинксы. Где-то в километре отсюда – соляной столб, похожий на квадратную сетку с волосами до плеч. Считается, что это – жена Лота.

По берегу ходил спасатель – марокканский еврей, юный, накачанный, с рельефной мускулатурой и тонким лицом.

Тишкин подумал: так выглядели ученики Христа, а может, и сам Иисус. И по воде, аки по суку, он шел тоже здесь. Тугая вода не давала провалиться.

Живая вечность. Ничего не изменилось с тех пор. Как стояло, так и стоит: холмы-сфинксы, белесое небо, чаша моря в солнечных искрах.

Было рекомендовано заходить в море на двадцать минут. Потом выходить на берег и смывать соль под душем. Но Тишкин уходил в море на полтора часа. Он вбирал его кожей, вдыхал легкими. Он исцелялся. Спасатель вскакивал на свою пирогу и, орудуя одним веслом, догонял Тишкина в середине моря и требовал вернуться. Тишкин усаживался на край пироги, и они возвращались вместе, как два ацтека – оба стройные и загорелые.

На берегу стояли дети разных народов и смотрели. Уставшие от жизни старые дети.

Тишкин отметил, что большинство отдыхающих – немцы: у немцев была своя социальная программа. Их больные лечились здесь бесплатно.

Израиль тоже посылал своих пенсионеров на пять дней. С большой скидкой. Каждую неделю приезжала новая партия.

Высокая старуха в махровом халате долго смотрела на Тишкина. Потом спросила:

– Ви с Ашдода?

– Нет, – ответил Тишкин.

– Ви с Бершевы? – не отставала старуха.

– Я из Москвы, – сказал Тишкин.

– Их вейс. А как же ви сюда попали?

– Просто взял и приехал.

– На пять дней?

– Почему на пять? На две недели.

– Но это же дорого, – встревожилась старуха. – Сколько ви платили?

Тишкин заметил, что вокруг на берегу прислушиваются. Откровенничать не хотелось, но и врать он не любил. Тишкин назвал цену.

– Их вейс... Это очень дорого, – отреагировала старуха. – А откуда у вас деньги? У вас бизнес?

– Ну... можно сказать бизнес, – замялся Тишкин.

– А какой?

Тишкин не хотел называть турагентство Лены. Вообще он не хотел поминать жену. Что за мужик, который пользуется деньгами жены?

– Я снимаю кино.

- Про что?
- Про людей.
- Так ви режиссер?
- Ну да...
- Простите, а какое ви сняли кино?

Старуха оказалась настырная, но симпатичная. Просто она была любопытная, как жена Лота.

– Я снял два фильма. – Он назвал свои фильмы.

– Так ви Тишкин? Владимир Тишкин? – поразилась старуха. Ее брови поднялись, глаза вытаращились.

– Да... – Тишкин растерялся. Он не ожидал, что его фамилию знают.

Вдруг он услышал сдержанные аплодисменты. Тишкин обернулся. Люди поднялись с пластмассовых стульев и аплодировали. Их лица были серьезными и торжественными.

– Ми здесь все смотрим все русское, – проникновенно сказала старуха. – Ми вас знаем. Ми получили от ваших кино большое удовольствие. Спасибо...

Тишкин растерянно улыбался. Глаза защипало, будто в них попала соль. А может, и попала.

Он пошел под душ. Стоял и плакал.

Значит, жизнь не прошла мимо. Ни одного дня.

По вечерам было некуда податься. В отеле устраивали танцы. Пожилые пары топтались с никаким выражением.

По понедельникам и четвергам пел негр с маленькой и очень подвижной головой. На английском. Голос у него был хороший, но слушать его было скучно. Тишкин подумал: пение, как правило, передает интеллект поющего или не передает за неимением оногo. По тому, КАК поют, всегда понятно, КТО поет.

По вторникам и пятницам приходил Миша – инженер из Ленинграда. Сейчас он проживал в соседнем городе Арад и подрабатывал в отелях Мертвого моря. Пел советские песни семидесятых годов. Песни – замечательные, и пел Миша очень хорошо, хоть и по-любительски. Мелодии проникали в душу, и даже глубже. В кровь. Невозможно было не отозваться. Русские евреи вдохновенно пели вместе с Мишей. Они скучали по своей молодости, по России. А Россия по ним – вряд ли. Это была односторонняя любовь.

По выходным дням пела коренная еврейка. На иврите. Мелодический рисунок, как родник, бил из глубины времени, из глубины культуры. И даже тембр голоса – особый, не европейский.

Русские евреи слушали, замороженные особой гармонией. Она была не близка им, но они как будто узнавали свои позывные со дна океана.

Тишкин скромно сидел в уголке и понимал, вернее, постигал этот народ. Его гнали, били в погромах, жгли в печах. А они возрождались из пепла и никогда не смешивали мясное и молочное. Резали сыр и колбасу разными ножами.

Еврейская женщина восходит к Богу через мужа. Семья – святое. Поэтому нация не размыта и сохранена.

Семья – национальная идея.

Пожилые пары топтались под музыку, держась друг за друга. В золотом возрасте время несется стремительно, оно смывает и уносит. Главное – зацепиться за близкого человека и удержаться. И они держались у всех на виду.

Тишкин смотрел, слушал и, как ни странно, работал. Под музыку приходили разные идеи. Выстраивался финал. Начало он придумал давно. Это будут документальные кадры тех времен. Руки чесались – так хотелось работать.

В отрыве от дома Тишкин начинал думать об Алине. Последние дни Алина не выходила из головы. Где она? Что с ней? Он много раз звонил Алине с тех пор, но никто не подходил. Потом подошел незнакомый голос и сказал:

– Она здесь больше не живет.

– А где она живет? – спросил Тишкин.

– Нигде, – по-хамски ответил голос. Видимо, ему надоели звонки и вопросы.

А может, и вправду нигде. Только в его памяти. Тугой сгусток страсти. И сгусток жалости. Это не размывалось во времени. Это осталось в нем навсегда.

В том краю была одна-единственная улица, по которой ходили громадные автобусы – неслись, как мотоциклы. Если перейти эту опасную дорогу, открывалась еще одна куца улочка вдоль магазинчиков. Даже не улочка, а помост. На нем стояли пластмассовые столы и стулья. По вечерам включали большой телевизор, и все местные жители собирались перед телевизором. Они были смуглые, черноволосые, в белых рубахах и черных штанах. Похожие на армян, на итальянцев, на любой южный народ. Сообща смотрели спортивные передачи и умеренно запивали пивом. Мимо бродили отдыхающие. Тоже присаживались за столики.

Немцы выгодно отличались сдержанностью одежды и манер. Русские евреи выпячивали себя голосом и телом. Всенепременное желание выделиться.

Тишкин шел и приглядывался: с кем бы провести вечер. Убить время. «Получить удовольствие», – как говорила старуха.

И вдруг ноги сами понесли его вперед и вперед – туда, где в одиночестве сидела невероятная немка, отдаленно похожая на Алину. Тишкин заметил две краски: золотое и белое. Белые одежды, золотая кожа и золотые волосы. Из украшений – только браслет, тоже золотой и массивный.

Тишкин подошел и остановился. Он хотел спросить разрешения – можно ли сесть с ней за один столик, но не знал, на каком языке разговаривать.

– Это ты? – спросила немка по-русски. – А что ты здесь делаешь?

– То же, что и все, – ответил Тишкин.

Это была Алина, Тишкин не верил своим глазам.

– Садись, – предложила Алина.

Тишкин сел.

Они никак не могли начать разговор. Он стеснялся спросить: «Куда подевался твой рак?» Но именно этот вопрос был главным.

– Я тебе звонил. Ты переехала...

– В Германию, – уточнила Алина.

– И ты живешь в Германии? – удивился Тишкин.

– И в Германии тоже.

– А где еще?

– Где хочу.

– Ты вышла замуж за миллионера?

– За Каравайчука.

– На самом деле? – удивился Тишкин.

– А что тут такого?

– Ты же его не любила.

– Правильно. Я тебя любила. Но ты был где-то. А Каравайчук рядом.

Это было справедливо. Тишкин промолчал.

– А ты как? – спросила Алина.

– Плохо. Не снимаю. Просто сижу и старею. Приехал сюда тормозить процесс. Все болит, особенно душа.

– А почему ты не снимаешь?

– Денег нет. Государство дает треть. А остальные надо где-то доставать. Никто не дает.

– А сколько тебе надо? – спросила Алина.

– Полтора миллиона... долларов, – уточнил Тишкин.

– Я тебе дам.

– У тебя есть полтора миллиона? – не поверил Тишкин.

– У меня есть гораздо больше.

Подошел официант. Тишкин заказал себе виски и сок для Алины.

– Это деньги Каравайчука? – спросил он.

– Почему? У меня свой бизнес.

– Какой?

– Не бойся. Не наркота.

– А где же можно так заработать?

– Я умею находить деньги под ногами.

– У тебя мусороперерабатывающий завод?

Алина удивленно приподняла брови.

– Под ногами только мусор. Больше ничего.

– Не вникай, – предложила Алина. – Ты не поймешь. В каждом деле свой талант. Ты снимаешь кино, а я бизнесмен.

– Тебя Каравайчук раскрутил?

– Он дал мне начальный капитал. А раскрутилась я сама.

Официант принес виски в тяжелом стакане и соленые орешки. Поставил перед Алиной сок. Тишкин расплатился. Алина, слава Богу, не остановила. Не лезла со своими деньгами. У нее хватило такта.

– Я бы не дал тебе начальный капитал. Я дал бы тебе только головную боль, – заметил Тишкин.

– Ты дал мне больше.

– Не понял...

– Помнишь, ты лег со мной... Тебе не было противно... После этого со мной что-то случилось. Я тоже перестала быть себе противна. Я себя полюбила... Если бы не это, я бы умерла. Ты дал мне жизнь. Это больше, чем полтора миллиона.

– Но они не вернуться, – честно предупредил Тишкин. – Кино денег не возвращает. Ты их просто потеряешь, и все.

– Ну и фиг с ими, – легко проговорила Алина. – Эти не вернуться, другие подгребут. Для того чтобы деньги приходили, их надо тратить. Если хочешь свежий воздух, нужен сквознячок.

Тишкин пил и неотрывно глядел на Алину. Он видел ее три раза. Первый раз – юную и нищую. Второй раз – смертельно больную, поверженную. И третий раз – сейчас – сильную и самодостаточную. Хозяйку жизни. Три разных человека. Но что-то было в них общее – женственности золотая суть. Женщина. Это была ЕГО женщина. Тишкина всегда к ней тянуло. И сейчас тянуло.

– А где Каравайчук? – неожиданно спросил он.

– В номере. Футбол смотрит. А что?

Тишкин все смотрел и смотрел. Она была красивее, чем прежде. Как созревшее вино.

– Ты меня еще любишь? – спросил он.

– Нет, нет... – испугалась Алина. – Вернее, да. Но – нет.

– Понял.

Эти полтора миллиона отрезали их друг от друга. Тишкин мог бы отказаться от денег, но это значило – отказаться от кино. А кино было важнее любви, важнее семьи, равно жизни.

– Ты вспоминаешь прошлое? Или хочешь забыть? – спросил Тишкин.

Алина закурила. Потом сказала:

– Прежде чем дарить, Господь испытывает. Без испытаний не было бы наград.

– Ты в это веришь?

– А как не верить. Ты же сам мне все это и говорил.

– Но я не Бог...

– Знаешь, как они здесь обращаются к Богу? «Адонаи». Это значит «Господи»...

Зазвонил мобильный телефон. Алина поднесла трубку к уху. Трубка – белая с золотом. Разговор был важный. Алина вся ушла в брови, давала распоряжения. Из нее высунулась новая Алина – четкая и жесткая, которую он раньше не знал.

Тишкин встал и попрощался. Алина на секунду отвлеклась от важного разговора.

- Оставишь мне на рецепции номер твоего счета, – распорядилась Алина.
- У меня его нет.
- Открой.
- Здесь? – не понял Тишкин.
- Лучше здесь. Вернее.

Алина снова переключилась на мобильный телефон. Она и раньше так умела. Переключаться сразу, без перехода.

Тишкин направился в свой отель. Воздух был стоячий, совсем не двигался. Было душно и отчего-то грустно. Хотелось остановиться и стоять. И превратиться в соляной столб, как жена Лота.

Мимо пробежала кошка. Она была другая, чем в России. Египетская кошка на коленях Клеопатры: тело длиннее, уши острее, шерсть короче. Такую не хотелось взять на руки.

Тишкин разделся на берегу и вошел в море голым. Густая чернота южной ночи надежно прятала наготу. Море было теплее воздуха и обнимало, как женщина. На лицо села муха. Откуда она тут взялась? Мертвое на то и мертвое, здесь ничего не росло и не жило. Никакой фауны. Тишкин согнал муху. Она снова села. Тишкин вытер лицо соленой ладонью. Муха отлетела.

Неподалеку колыхалась чья-то голова.

- Что? – спросил Тишкин. Ему показалось: голова что-то сказала.
- Я молюсь, – сказал женский голос. – Я прихожу сюда ночью и говорю с Богом.
- По-русски? – спросил Тишкин.
- Нет. На иврите.
- Как это звучит?

Женщина заговорила непонятно. Тишкин уловил одно слово: «Адонай».

– И что вы ему говорите? – спросил Тишкин.

– Ну... если коротко... Спасибо за то, что ты мне дал. И пусть все будет так, как сейчас. Не хуже.

- А можно попросить лучше, чем сейчас?
- Это нескромно.

Женщина отплыла, вернее, отодвинулась. Растворилась в ночи.

На противоположном берегу сверкали отели. После отелей шла возвышенность, и огни были брошены горстями на разных уровнях.

– Адонай, – проговорил Тишкин, – спасибо за то, что ты мне дал: меня самого, моих родителей и мою дочь. По большому счету больше ничего и не надо. Но... – Тишкин задумался над следующим словом. Сказать «талант» нескромно. Призвание. Да. – Мое призвание мучит меня. Не дает мне спокойно жить. Разреши мне... – Тишкин задумался над следующим словом, – выразить, осуществить свое призвание. Ты же видел, как мне хлопали. Значит, людям это надо зачем-то... Но даже если им это не обязательно, это надо мне. А может быть, и тебе...

Тишкин смотрел в небо. Небо было другое, чем в России. Ковш стоял иначе.

Сентиментальное путешествие

– Ой, только не вздумайте наряжаться, вставать на каблуки, – брезгливо предупреждала толстая тетка, инструктор райкома. – Никто там на вас не смотрит, никому вы не нужны.

Группа художников с некоторой робостью взирала на тетку.

ТАМ – это в Италии. Художники отправлялись в туристическую поездку по Италии. Райком в лице своего инструктора давал им советы, хотя логичнее было бы дать валюту.

Шел 1977 год, расцвет застоя. Путевка в Италию стоила семьсот рублей, по тем временам это были большие деньги. Восемь дней. Пять городов: Милан, Рим, Венеция, Флоренция, Генуя.

– Возьмите с собой удобные спортивные туфли. Вам придется много ходить. Если нет

спортивных туфель, просто тапки. Домашние тапки. Вы меня поняли?

Лева Каминский, еврей и двоеженец, угодливо кивнул. Дескать, понял. Видимо, он привык быть виноватым перед обеими женами, и это состояние постоянной вины закрепилось как черта характера.

Романова тоже кивнула, потому что тетка в это время смотрела на нее. Смотрела с неодобрением. Романова была довольно молодая и душилась французскими духами. Душилась крепко, чтобы все слышали и слетались, как пчелы на цветок. Романова была замужем и имела пятнадцатилетнюю дочь. Но все равно душилась и смотрела в перспективу. А вдруг кто-то подлетит – более стоящий, чем муж. И тогда можно начать все сначала. Сбросить старую любовь, как старое платье, – и все сначала.

Фамилия Романова досталась ей от отца, а отцу от деда и так далее в глубину веков. Это была их родовая фамилия, не имеющая никакого отношения к царской династии. Прадед Степан Романов был каретных дел мастер. Все-таки карета – принадлежность высокой знати, поэтому, когда Романову спрашивали, не родственница ли она последнему царю, – делала неопределенное лицо. Не отрицала и не подтверждала. Все может быть, все может быть... И новая любовь, и благородные корни, и путешествие в Италию.

– Вообще Италия – это что-нибудь особенное, – сказала инструктор. – Там невозможно прорыть метро. Копнешь – и сразу культурный слой.

– Там нет метро? – удивился искусствовед Богданов. – Если я не ошибаюсь, в Италии есть метро.

Богданов был энциклопедически образован, знал все на свете. Впоследствии выяснилось, что он знал больше, чем итальянские экскурсоводы, и всякий раз норовил это обнаружить: перебивал и рассказывал, как было на самом деле. В конце концов советские туристы поняли, что им подсовывали дешевых экскурсоводов, по сути, невежд и авантюристов. И гостиницы предоставляли самые дешевые. И купить на обменные деньги они могли пару джинсов и пару бутылок минералки.

Но это позднее. Это не сейчас. Сейчас все сидели и слушали тетку, которая желала добра и советовала дельные вещи, но при этом разговаривала, как барыня с кухаркой, которую она заподозрила в воровстве. В ее интонациях сквозили презрение и брезгливость.

Романова выразительно посмотрела на человека, сидящего напротив, как бы показывая глазами, что она не приемлет этот тон, но не хочет спорить.

Сидящий напротив, в свою очередь, посмотрел на Романову, как бы встретил ее взгляд, и Романова забыла про тетку. Ее поразил сидящий напротив. У него был дефицит веса килограммов в двадцать. Он не просто худ, а истощен, как после болезни. Волосы – цвета песка, темнее, чем пшеничные. Блондин на переходе в шатена. Песок после дождя.

Романова не любила черный цвет и как художник редко им пользовалась. Черный цвет – это отсутствие цвета. Ночь. Смерть. А песок имеет множество разнообразных оттенков: от охры до почти белого. И его волосы именно так и переливались. Глаза – синие, странные. Круглые, как блюдца. Именно такие глаза Романова рисовала своим персонажам, когда оформляла детские книжки. У нее мальчики, девочки и олени были с такими вот преувеличенно круглыми глазами.

Небольшая легкая борода, чуть светлее, чем волосы. Песок под солнцем.

«Как герой Достоевского, – подумала Романова. – Раскольников, который сначала убьет, а потом мучается. Всегда при деле. А так, чтобы жить спокойно, не убивая и не мучаясь, – это не для него».

Тетка тем временем заканчивала свое напутствие. Она сообщила вполне миролюбиво, что жить туристы будут по двое в каждой комнате: женщина с женщиной, а мужчина с мужчиной. И выбрать напарника можно по своему усмотрению.

– Это мы вам не навязываем, – благородно заключила инструктор райкома.

– Спасибо, – угодливо сказал двоеженец.

Богданов скептически хмыкнул. Тетка настороженно посмотрела на Богданова.

Романова огляделась. С кем бы она хотела поселиться? Женщины в большинстве своем

были ей незнакомы, в основном – сотрудницы музеев. Одна – яркая блондинка – жена Большого Плохого художника. И карикатуристка Надя Костина, про нее все говорили, что она – лесбиянка. В Москве семидесятых годов это была большая редкость и даже экзотика. Романова предпочитала никак не относиться к этой версии. Каждый совокупляется как хочет. Почему остальные должны это комментировать? При этом Костина была выдающаяся карикатуристка, у нее был редкий специфический дар. Может быть, одно с другим как-то таинственно связано и называется «патология одаренности». Если, конечно, лесбиянство считать патологией, а не нормой.

Но может быть, все эти разговоры – сплетня. Сплетни заменяют людям творчество, когда у них нет настоящего. Когда их жизнь пуста. В пустой жизни и драка – событие. На пустом лице и царапина – украшение. Обыватели не любят выдающихся над ними и стремятся принизить, пригнуть до своего уровня. Так что вполне могло быть, что Надя Костина – жертва человеческой зависти.

Все поднялись со стульев. Костина подошла к Романовой и элегантно спросила:

– Тебе не мешает сигаретный дым?

– Нет, – растерянно сказала Романова.

– Тогда поселимся вместе. Не возражаешь?

Отвечать надо было быстро. Романова испугалась, что Надя заметит ее замешательство, и торопливо проговорила:

– Конечно, конечно...

– Какие духи... – Надя элегантно повела в воздухе сигаретой.

Ее слова и жесты были изысканны, но лицом и одеждой она походила на спившегося молодого бродягу. Кое-какие брюки, висящие мешком, пиджак она надевала на мужскую майку. Кепка. Сигарета. Если на нее не глядеть, а только слушать и смотреть ее работы...

Но придется глядеть и даже спать в одном помещении.

После собрания Романова поехала домой на такси, продолжая слушать в себе некоторое замешательство. Она уже ругала себя за то, что сразу не сказала: нет. Отказывать надо сразу и резко. Тогда не будет никаких обид. Но Романова не умела сказать: нет. Не водилось в ее характере такой необходимой для жизни черты. Этим все пользовались. Но и она, надо сказать, тоже широко пользовалась человеческой мягкостью и добротой. А ее много вокруг, доброты. Просто люди больше замечают зло, а добро считают чем-то само собой разумеющимся. Как солнце на небе. Добро заложено и включено в саму природу. Солнце светит, под солнцем зреет огурец на грядке. Человек его ест. Потом сам становится землей, и на нем (на человеке) зреют огурцы.

И никто никому не говорит «спасибо». Огурец не говорит «спасибо» солнцу, а человек не благодарит огурец. И земля не говорит человеку «спасибо», принимая его в себя. Все само собой разумеется.

Солнце светит потому, что это надо кому-то. Земле, например. Само для себя солнце бы не светило. Скучно светить самому себе. И Романова для себя лично ничего бы не рисовала. Она оформляет детские книжки, это надо детям.

В этих и других размышлениях Романова провела день до вечера, успевая при этом заниматься по хозяйству, и готовиться в дорогу, и отвечать на телефонные звонки.

Вечером позвонил детский писатель Шурка Соловей и попросил, чтобы вышла.

Романова когда-то года два назад оформляла Шуркину книгу, и они один раз переспали. От нечего делать. Шурка не годился в мужья. И в любовники тоже не годился. Почему? А черт его знает.

Была всего одна ночь, но они оба запомнили. Шурка много говорил, рассказывал все свое детство, выворачивал душу наизнанку, как карман. И они вместе рассматривали, перебирали содержимое этого кармана – откладывая ненужное в сторону. Что-то выкидывали вовсе. Вытряхивали, чистили Шуркину душу.

Производили генеральную уборку.

А утром жизнь растащила по своим углам. Была одна ночь, которая запомнилась. И

туда, как к колодцу, можно было ходить за чистой водой. Зачерпнешь воспоминаний, умоешься – и вперед.

Шурка позвонил вечером и сказал:

– Спустись вниз.

Романова спустилась. Шурка сидел в машине. В старом «Москвиче».

Романова села рядом. В машине было неубрано, валялись железки, банки, тряпки. Это была одновременно и машина и гараж.

– У меня от поездки остались восемь тысяч лир, – сказал Шурка. – Это копейки. Самостоятельно на эти деньги ничего не купишь. Но доложишь и купишь.

Шурка вытащил из кармана сложенные бумажки. Протянул.

– Спасибо, – растроганно сказала Романова.

– Ты их только не прячь. Не вздумай совать в лифчик. Положи на виду. В карман плаща.

– А почему надо прятать? – удивилась Романова.

– Провоз валюты запрещен.

– Ты же говоришь, это копейки.

– Не имеет значения. Валюта есть валюта. Восемь лет тюрьмы.

Романова задумалась: с одной стороны – жалко отказываться от денег, а с другой стороны – не хочется в тюрьму.

– Да не бойся, – успокоил Шурка. – Если спросят, откуда, скажи: Шурка дал. Назовешь мою фамилию.

– А ты не боишься?

– Нет. Не боюсь.

– Почему?

– Не знаю. Леню мне бояться. На страх надо силы тратить, а я ленивый человек.

Шурка грустно примолк. То ли осуждал себя за лень, то ли скучал по Романовой, по той ночи, когда он был самим собой в лучшем своем самовыражении. Как хорошо и умно он говорил, как неумоимо и счастливо ласкал. Больше у него ни с кем так не получалось. Чего-нибудь обязательно не хотелось: то ли говорить, то ли ласкать.

В машине образовалась тишина. Но не тягостная, когда нечего сказать. А тишина переполненности, когда много слов замерли в воздухе и не движутся.

Смеркалось. По тропинке к дому шли мальчик и девочка, оба юные, тоненькие, как будто несли кувшин на голове. Боялись расплескать предчувствие любви.

Романова взгляделась и узнала свою дочь Нину. Она выскочила из машины и заорала:

– Нина! Я привезу тебе джинсы! Придешь домой, смеряй сантиметром: талию, бедра и расстояние от пупа до конца живота. Поняла?

Нина остановилась и замерла. Она боялась приближаться и идти мимо матери.

Шурка взял Романову за руку и затянул ее в машину.

– А дома ты не могла ей сказать? – с осуждением спросил Шурка.

– Могла. Но это была бы не я.

Вот это правда.

Романова делала в жизни много ошибок, потому что не умела терпеть и ждать. И если разобраться, вся ее жизнь была одна сплошная ошибка, не считая дочери и профессии. Тогда что же остается? Вернее, кто?

Самолет на Милан взлетал в семь утра. В аэропорт надлежало явиться за два часа. Значит, в пять. Туристы стояли вялые, безучастные. Когда хочется спать, не хочется уже ничего. Природа пристально отслеживает свои интересы и моментально мстит за недостаток сна, еды, питья и так далее и тому подобное.

Сдавали багаж. И в этот момент произошло некоторое оживление. Старушка анималистка (рисовала животных для наглядных пособий и для детского лото) потеряла паспорт и начала его искать. Похоже было, что она оставила документ дома и поездка срывалась. Пограничники на слово не верят. Это граница. И кто может поручиться, что

старушка – не работник ЦРУ. Зайчики, мышки – это так. Для прикрытия. А основная деятельность в другом. В подрыве социалистических устоев. Наверняка эта старушка из бывших. Иначе откуда эта аристократическая манера путешествовать в семьдесят. В семьдесят лет сидят дома и нянчат внуков, а то и правнуков.

Старушка (ее звали Екатерина Васильевна) судорожно рылась в чемодане. Она вспотела, была близка к апоплексическому удару. Двоеженец Лева Каминский взял сумку Екатерины Васильевны и вытряхнул всю ее на пол, на кафель аэропорта. Покатилась помада, заскользила расческа, выпали смятый носовой платок, мелочь, спички, махорка, высыпавшаяся из сигарет, и среди прочего узенькая книжечка паспорта.

Все выдохнули с облегчением. Лева Каминский поднял паспорт и сам передал таможеннику. Старушке он больше не доверял. Екатерина Васильевна возвращала свое добро обратно в сумку – монетки, помаду – в обратном порядке. В ней все кипело и пузырилось, как в только что выключенном чайнике. Огня уже нет, но еще бурлит и остынет не скоро.

Романова успела заметить, что в момент поиска лица туристов были разнообразны: одни выражали обеспокоенность, другие равнодушные (как будет, так и будет). Третьи были замкнуты. На замкнутых лицах читалось: «Каждому свое» – как на воротах Освенцима.

Раскольников смотрел перед собой и как бы отсутствовал. Возможно, спал стоя. Как конь.

А высокий принаряженный грузин по имени Лаша совершенно не хотел спать. Он был торжественно возбужден предстоящим путешествием. Лаша родился в деревне под Сухуми, в бедной семье. Отец пришел с войны без ног. Все детство прошло возле инвалида, в ущербности и бедности. У Лаши вызревала мечта – выбиться в люди, занять хорошую должность и путешествовать по миру с другими уважаемыми людьми. Все свершилось. Лаша жил в Москве в самом центре, занимал должность небольшого начальника в Союзе художников. А сейчас отправлялся в страну Италию с художниками и искусствоведами. Свершилось все, о чем мечтал, и даже чуть-чуть больше.

Лаша поглядывал на Романову. Она была самая молодая и самая привлекательная из существующих женщин. Старушка и лесбиянка не в счет. Жена Большого художника – тоже мимо, поскольку притязания на жену – прямой выпад против начальства. Остальные женщины порядочные, а потому пресные.

Лаша недавно развелся и искал подругу жизни. Романова вполне могла стать подругой на период путешествия. Лаша давно заметил, что такие вот – умненькие, очкастые – самые развратные, изобретательные в постели. Лаша старался держаться поближе и поглядывал заинтересованно.

Романова быстро подметила его заинтересованность и решила поэксплуатировать.

– Вы грузин? – спросила она.

– Грузин, – сказал Лаша. – А что?

– Значит, рыцарь?

Лаша насторожился.

– Возьмите себе мою валюту. Тут мелочь...

Романова вытащила итальянские лиры.

Лаша выстроил обиженное лицо. Он не хотел рисковать. Можно было потерять не только путешествие, но и работу. И свободу. А в тюрьме плохое питание, неудобный сон и вынужденное общение. В тюрьме плохо. А он так долго жил плохо и только недавно стал жить хорошо.

Однако отказывать было стыдно, тем более что Романова включила национальное самосознание. Грузин – рыцарь, а не трус.

Лицо Лаши становилось все более обиженным. Сейчас заплачет.

– Ладно, – сказала Романова. – Грузин, называется.

Она отошла. Отошла возможность комплексного счастья: Италия + женщина. Оставалась только Италия.

«Ну и черт с тобой, – подумал Лаша. – Зато не будет отвлекать». Лаша был человек увлекающийся, он нырнул бы в Романову с головой и просидел там все десять дней и ничего не увидел. Стоило ехать в такую даль, платить семьсот рублей... Лаша утешился.

Романова стояла в растерянности. Сейчас начнут рентгеном просвечивать ручную кладь и всю тебя. Хоть бери да выбрасывай лиры в плевательницу.

Раскольников держал в руках толстую книгу в рыжем кожаном переплете.

– Давайте познакомимся, – предложила Романова. – Меня зовут Катя Романова.

– Я знаю, – спокойно сказал Раскольников.

– Откуда?

– У меня есть сын, а у сына ваша книга «Жила-была собака». Это наша любимая книга.

– Спасибо, – задумчиво поблагодарила Романова. – Вы не возьмете у меня восемь тысяч лир? Я боюсь.

Она прямо посмотрела в круглые озера его глаз и показала сложенные бумажки.

Раскольников молча взял их и сунул во внутренний карман своего плаща. Всего два движения руки: одно к деньгам, другое к карману. В сущности, одно челночное движение. И весь разговор.

Когда вошли в самолет, сели рядом. Раскольников молча проделал второе челночное движение руки: от кармана к Романовой с теми же сложенными бумажками.

– Спасибо, – сказала она.

– Не за что.

– А вы не боялись?

– Кого? ИХ?

Взгляд его синих глаз стал жестким. В старые времена сказали бы «стальным». Если бы Романова решила нарисовать эти глаза, то подбавила бы в голубую краску немножко черной. «Странный, – подумала Романова. – Сумасшедший, наверное...»

Вот Лаша – тот не был сумасшедший. Нормальный советский человек.

Раскольников углубился в рыжую книгу.

– А что это у вас? – осторожно спросила Романова.

– Путеводитель по Италии.

– А зачем? Нас же будут возить и водить.

– Вы считаете, этого достаточно?

Раскольников внимательно посмотрел на Романову, и ей стало неловко за свою обыкновенность.

Она откинулась на сиденье и закрыла глаза.

А Раскольников открыл путеводитель на нужной странице и был рад, что ему никто не мешает. Он был серьезный человек и ко всему относился серьезно.

Первое ощущение Италии было на слух. В аэропорту Милана какая-то женщина громко звала: «Джованни-и! Джованни-и!»

Последнее «и» на полтона ниже, чем все слово. В музыке полтона называется малая секунда. А в России кричат: «Ва-ся-я!», и последнее «я» на два тона ниже. В музыке это называется терция. Разница в полтора тона. Мелочь, в общем...

В Италии едят на гарнир спагетти, у русских – картошку. У них каждый день спагетти, у нас каждый день картошка. Тоже мелочь.

У них лира, у нас рубль. У них капитализм, у нас социализм. А вот это не мелочь.

Русские в Италии. Каждый дожил до своей Италии и привез в нее свое душевное богатство и широкую русскую душу. Но со стороны этого было незаметно – широты и богатства. Со стороны гляделся некрасивый багаж, скучная одежда и стоптанная обувь.

Старушка мечтала увидеть Колизей. Богданов – попасть в галерею Уффици.

Лаша осторожно поглядывал на Романову, как бы перепроверя свои возможности на новой земле.

Романова искала глазами витрины, у нее было на восемь тысяч больше, чем у всех. А Надя Костина, выспавшись в самолете, оглядывала группу. Ей нравилась жена Большого

Плохого художника – яркая блондинка. Она была высокая, просторная и белая, как поле ржи. Большие Плохие художники выбирают себе лучших.

А еще Надя постоянно помнила о бутылке водки, которую она с наценкой купила в аэропорту. Бутылка лежала на дне сумки и осмысляла жизнь, как живое существо.

Первый день показался длинным, потому, наверное, что начался в четыре утра. Он тянулся и никак не мог закончиться. И в этом дне запомнился только дождь, что большая редкость в Италии в июне месяце. Италия – южная страна. Находится на одной широте с нашей Молдавией. И язык похож. Но и только. И только. Все остальное – разное. Особенно витрины.

Советские туристы не могли сделать шагу, чтобы не остолбенеть и не замереть, как будто они наступили на оголенный провод и через них пошел ток.

Романова застыла перед шубой. От одного конца витрины до другого, как цыганская юбка, простирался легкий мех норки. Существовала, наверное, особая обработка, после которой мех становился как шелк. Советский мех – как фанера. Может быть, фанера практичнее и нашей шубы хватит на дольше. Но, как говорится, «тюрьма крепка, да черт ей рад».

Лаша замер перед лампой. Она представляла собой большой хрустальный шар, в нем переплетались разноцветные светящиеся нити, и он медленно крутился, как земля, а нити играли зеленым, синим, малиновым.

Лаша понял, что его мечта перешла на новый виток. Теперь он хочет вот такую лампу, вот такую кровать и вот такую женщину. Как на фоторекламе. И вот такую страну. Боже, как это далеко от его деревни под Сухуми. Как жаль отца, который умер и ничего этого не видел. Что видел отец? Деревню. Фронт. Госпиталь. Деревню. Круг замкнулся.

А Лаша прорвал этот круг и вырвался из него – как далеко. До самой Италии. До этой витрины. Лампа кружилась. Обещала.

– Па-сма-три-и... – выдохнул Лаша, обернувшись к Романовой, которая стояла и бредила наяву возле норковой шубы цвета песка.

Жену Большого Плохого художника отнесло к витрине с драгоценностями. Там на бархате сиял бант из белого золота, усыпанный бриллиантами. Надеть маленькое черное платье и приколоть такой вот бантик. И больше ничего не надо. И тогда можно прийти в любое общество и выбрать себе Самого Большого Плохого художника. Брежнева, например. Леонида Ильича. А можно молодого и нахального, в джинсах, с втянутым животом.

Большой Плохой художник тоже носит джинсы, но у него при этом зад как чемодан. С той разницей, что чемодан можно спрятать на антресоли, а зад приходится лицезреть каждый день.

Подошел художник-плакатист Юкин.

– Тебе нравится? – спросила Жена, указывая на бант.

– Кич, – ответил Юкин.

Кич – значит смешение стилей, то есть безвкусица. Но Жена не знала, что такое кич, и решила, что это одобрение, типа «блеск».

– Купи, – пошутила Жена.

У Юкина не хватало денег даже на коробку.

– Я бы купил, – серьезно отозвался Юкин. – Для тебя.

Жена посмотрела на Юкина. Он был в джинсах, с втянутым животом и всем, чем надо. Но не великий. И даже не маленький. Никакой. Оформлял плакаты типа «Курить – здоровью вредить».

Он был никакой для общества. Но для себя он был – ТАКОЙ. И для друзей он был – ТАКОЙ. А его другом считался и был таковым художник Михайлов. Восходящая звезда. Михайлов писал картины и работал в кино, был одновременно членом двух творческих союзов – художников и кинематографистов.

Пушкин говорил: «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей».

Художник Михайлов был дельным человеком, но не думал о красе ногтей, о чистоте волос и о прочих мелочах, сопутствующих человеку. Он был как алмаз, требующий шлифовки. В данный момент на итальянской земле он пребывал в запыленном состоянии, когда алмаз не отличишь от стекляшки.

Костина приблизилась к Михайлову и показала ему горлышко бутылки, как бы спрашивая: «Хочешь?»

Юкин тут же подошел к ним и строго сказал Михайлову:

– Мы же договорились.

– А я ничего, – отрекся Михайлов.

Юкин и Михайлов договорились, что всю Италию они не возьмут в рот ни капли. Они договорились и даже поклялись во время прогулки на Ленинских горах. Как Герцен и Огарев. Суть клятвы была разная. Но решимость довести дело до конца – одна и та же.

– А ты не провоцируй, – строго сказал Юкин Наде.

– Пожалуйста, – обиделась Надя.

Она проявила царскую щедрость, а ее же за это и осуждали. Воистину, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Однако ей скучно было пить без компании. Пить – это не только пьянеть. Это вид сообщества, поиск истины, приобщения к всемирной душе. Трезвые люди – одномерны и скучны. Им не понять великого перехода в третье измерение. Им не понять лесбийской любви, где нет власти и насилия одного над другим, а есть одна безбрежная нежность. Надю Костину вообще никто не мог понять, и она скучала среди людей. И принимала успокоительное в виде алкоголя.

Надя подошла к Богданову и спросила:

– Хотите, Лев Борисович?

– Да что вы, – удивился Богданов. – Я с утра не пью. И вам не советую.

Богданов отвернулся к витрине с антиквариатом. В ней были выставлены старинные граммофоны, шарманки, рамы для картин с тяжелой лепниной. Если бы можно было заложить в ломбард десять лет жизни и на вырученные деньги скупить все это...

Богданов занимался девятнадцатым веком, и ему было интереснее ТАМ. Все интереснее: вещи, мысли, личности, воздух, еда. Здесь, в сегодняшнем дне, он находился как бы случайно. Как эмигрант в чужой стране. И женщины сегодняшнего дня ему не нравились, слишком много в них мужского. Добытчицы, зарабатывают хлеб в поте лица, носят брюки, пьют водку.

Когда Богданов смотрел на женщину, то мысленно переодевал ее в длинное платье, широкополую шляпу, украшенную искусственными цветами. Смешной был человек Богданов.

Но все они сейчас – и смешные, и серьезные, и никакие, – все замерли перед витринами, и их невозможно было сдвинуть с места.

– Не пьаль-тесь! – в отчаянье взвыл руководитель группы.

Автобус ждал. Все было расписано по минутам. Опаздывать нельзя. Туризм – это бизнес. К тому же совестно за своих: стоят, как дикари, которым показали бусы.

– Не пьаль-тесь же! – брезгливо орал Руководитель.

Руководитель – из националов. Народный художник. Его лицо было плоское, в морщинах, как растрескавшаяся земля. И непривычно широкое для итальянцев.

Итальянцы оборачивались и смотрели на него и на двоеженца, у которого из сандалии сквозь дыру в носке трогательно глядел большой палец. Видимо, ни одна из двух жен не хотела зашить, оставляла другой. И вообще, Лева был неухожен, будто у него не было ни одной жены. Видимо, две и ни одной – это одно и то же. Должна быть одна.

Туристы мирились с окриками Руководителя. Раз он кричит, значит, так надо. Ему можно. Они вздрагивали, как стадо коз под бичом пастуха, и покорно шли дальше.

Тайная вечеря

Романова много раз видела репродукции. И подлинник похож на копии. Но и отличается. Из подлинника летит энергия мастера. А в копии – между мастером и Романовой стоит ремесленник.

Рассеянный экскурсовод рассказывал: кто изображен (Христос и апостолы), почему они собрались и что будет потом. Именно на Тайной вечере Христос сказал: «Один из вас предаст меня». Лицо Иуды в тени. Он боится, что его опознают. Иуда – предатель. С тех пор человечество не пользуется его именем. Нет ни одного – ни взрослого, ни ребенка – с именем Иуда. Иуда – синоним «предатель», а значит, мерзавец.

Богданов возразил: Иуда раскаялся в своем поступке и повесился на осине. Он покончил с собой – значит, уже не мерзавец. Мерзавцы после предательства живут так, будто ничего не случилось.

Экскурсовод не принял реплики, сказал, что человечеству безразлично дальнейшее поведение предателя. Более того, он испортил репутацию осины и осина с тех пор неуважаемое дерево.

Раскольников стоял чуть в стороне, он смотрел, смотрел, будто втягивал изображение в свои глаза, потом тихо заговорил поверх голоса экскурсовода. Забубнил, как в бреду. Но все стали слушать... Если бы не было предательства, Христа не распяли бы. Если бы не было распятия – не было бы и христианства. Именно после смерти на кресте пошло начало и шествие христианства по всему миру.

А что такое Христос, избежавший креста? Это Христос без христианства. А зачем он нужен? Значит, Иуда был необходим. Иуда тоже пошел на смерть. Добровольно. Его миссия велика. Но он поруган. Он проклят на все времена. Он, как навоз, лег в землю, на которой выросли розы. Люди видят только розы. И не помнят о навозе. И брезгливо отворачивают носы при одном упоминании. Но христианство победило и держит мир. И в этом участвовали двое: Христос и Иуда.

Все слушали. И экскурсовод слушал. Никто не возражал, даже Богданов. Из Раскольниковой выплескивалась какая-то особая энергия. Он недобрал в весе, но превосходил духом. И Романова чувствовала эту превосходность. И ей хотелось подчиниться и идти за ним, как апостол за Христом. Да они и похожи: то же аскетическое лицо, глаза, не видящие мелочей. И выражение лица. Нигде и никогда Христос не изображен смеющимся. Ему надо было создать учение и мученически умереть в молодые годы. Какое уж тут веселье.

Вечером отправились смотреть порнуху. Пошли не все. Старушка, Богданов и Руководитель остались из моральных соображений. Двоеженец – из материальных. Ему надо было купить подарки в две семьи, а билет стоил дорого.

Остальные не стали маяться. Сложились и пошли.

Кинотеатр был маленький, тесный, и фильм – не фильм, а что-то вроде наших «новостей дня». Сначала на экране посыпалось зерно – сюжет на сельскохозяйственную тему, потом забегали по футбольному полю юркие негры – спортивный сюжет, потом – выставка машин новейших марок. На крутящемся стенде вокруг своей оси вращались машины, которые отличались от наших много больше, чем спагетти от картошки. Никакой порнухи не было. Вышла осечка. Деньги пропали. Но вдруг на сороковой минуте выскочил маленький сюжет: девица моется под душем, совершенно голая, разумеется. Моется очень тщательно. И долго. И тщательно. А потом к двери подходит молодой мужчина, отдаленно похожий на Юкина, и подсматривает. А потом входит в ванную, запирает за собой дверь и помогает ей мыться, но заодно и мешает. Отвлекает от мытья.

Романова впервые видела порнуху не в своем воображении, а отдельно от себя. Кто-то другой демонстрировал свое воображение на экране. Ничего принципиально нового Романова не увидела. Все это она предполагала и без них.

Лаша сидел рядом, и это было особенно стыдно. Его глаза сверкали, как два луча, и прорезали темноту зала.

С другой стороны сидел Раскольников. И Романова плохо себе представляла, как они посмотрят друг на друга, когда зажжется свет. Все это походило на соучастие в чем-то

непристойном.

Однако свет зажегся. Все поднялись и отправились пешком в гостиницу. Шли молча. Юкин и жена Большого Плохого художника отстали.

– Ты такая большая, как стела, – сказал Юкин.

– Это мое имя, – ответила Жена. – Меня зовут Стелла.

– Стелла по-итальянски «звезда», – хрипло сказал Юкин.

Ему было трудно говорить. Весь его низ напрягся, восстал. Ему было трудно говорить и передвигаться.

Юкин обнял Стеллу и прижался всем телом к ее большому телу. И еще осталось место.

«Как давно у меня этого не было», – подумала Стелла.

Итальянцы шли мимо них, не обращая внимания. Для итальянцев это было нормально, как имя Джованни и как спагетти под томатным соусом.

Романова вошла в свой номер. Посредине – сдвоенная кровать шириной примерно четыре метра, а может, и шесть. Брачное ложе. На стене, над спинкой кровати, – образок Мадонны, благословляющей священный союз.

Надя Костина лежала поверх одеяла, одетая. На полу – начатая красивая бутылка вермута.

Романова в этот вечер не прочь была принять новый сексуальный опыт. С женщиной. Но Надя Костина ей не нравилась. Она была – если можно так выразиться – не в ее вкусе. Более того. Вернее, менее того. Она была ей неприятна. И хорошо, что кровать широкая и на ней две подушки и два одеяла. Можно переодеться в ночную рубашку и лечь на свою левую сторону, забыв о правой стороне.

Романова именно так и поступила. Она легла и затаилась в ожидании сексуальной агрессии.

Но Наде Костиной хотелось совсем другого. Ей хотелось поговорить и чтобы ее послушали. Алкоголь обострил ее восприятие, мысли толпились и рвались наружу. Каждая мысль остра, неординарна. Жалко было держать в себе, хотелось поделиться, как пищей и вином. Как всем лучшим, что она имеет.

Костина говорила, говорила, обо всем сразу: об итальянском Возрождении, о буржуазии, об истории карикатуры...

Романовой страстно хотелось одного: спать, спать, спать... А Костиной – говорить, говорить, говорить...

«Лучше бы она хотела другого, – подумала Романова. – Это было бы короче...»

Кончилось тем, что они выбрали каждая свое: Романова заснула под шорох золотого словесного дождя, где каждое слово – крупинка золота. Жаль, что не было магнитофона и все слова ушли в никуда. В воздух. Воспарили к потолку. И растаяли.

На другой день была Венеция. К Венеции подъезжали морем на речном катере, и она выступила из-за поворота черепичными крышами. У Лаши были полные глаза слез. Чистые слезы чистого восторга. И Романова тоже ощутила влажный жар, подступивший к глазам... Пожалуй, это были самые счастливые минуты во всем путешествии: водная гладь, стремительный катер и набегающий город – такой наивный и вечный, как детство.

Раскольников стоял с сумкой через плечо и всматривался в город, как в приближающегося противника: кто кого.

Романова снова ощутила превосходство этого человека над собой. Да и надо всеми. Что-то в нем было еще плюс к тому. Все как у всех и плюс к тому. Хорошо бы узнать – что?

Снова гостиница. При гостинице – ресторан. Суп – в шесть часов, а не в два, как в Москве. Итальянцы принимают основную еду в шесть. И конечно, спагетти под разнообразными соусами, и мясо, как «шоколата». Как шоколад, не в смысле вкуса, а в поведении на зубах. Оно жуется легко и как бы сообщает: «Ты голоден – ешь меня. Жуй и ни о чем не беспокойся. Я только то, что ты хочешь».

Наше советское перемороженное мясо как бы вступает в единоборство с человеком. Кто кого. «Ты хочешь разжевать, а я не дам. Хочешь проглотить? Подавись».

Туристы с вдохновением поглощали итальянскую кухню – все, кроме Раскольников. Раскольников сидел бледный и держал руку на животе.

– Язва открылась, – сказал он Романовой, отвечая на ее обеспокоенный взгляд. – У меня это бывает.

Когда принесли спагетти, он попросил без подливки.

– А можно его подливку мне? – поинтересовался двоеженец.

– Переводить? – усомнилась переводчица Карла.

– Ведите себя прилично, – посоветовал Руководитель.

– А что здесь особенного? – удивился двоеженец.

Карла перевела. Официант не понял. Потом понял. Удивился, но смолчал. При чем тут «его подливка, моя подливка»... Синьор хочет больше соуса? Пусть так и скажет.

К обеду полагалось вино: белое или розовое. Надо было выбрать.

– А можно то и другое? – спросила Надя Костина.

– Ведите себя прилично, – снова попросил Руководитель. – Что они подумают о русских...

У официанта действительно было свое мнение о разных народах. Русские никогда не дают на чай. Немцы платят десять процентов от обеда. Американцы – не считают. Дают широко. Французы жмутся. Жадная нация. А русские – бедная. У них, говорят, самая передовая идеология, но идеологию на чай не оставишь. Да и зачем она нужна при пустом кошельке. Пустой кошелек – это и есть идеология. Вот что думал шустрый кудрявый официант. Но вслух, естественно, не говорил. Да они бы и не поняли. Русские ели жадно и неумело. Редко кто правильно управлялся с ножом и вилкой. Хватали руками, как дети. И если у них отнять тарелки – они бы, наверное, заплакали.

Венеция – это каналы, гондолы и гондольеры. Гондольеры – довольно пожилые дядьки, одетые в соломенные шляпы с ленточкой, как в старые времена. И каналы те же. И так же поют под мандолину «О соли мио». Но за «соли мио» надо заплатить. Поэтому русские слушали с чужих лодок.

Вода плескалась в дома, и стены домов были зелеными от ила и водорослей. «Культура, конечно, романтическая, – думала Романова. – Но разве удобно жить, когда фундамент в воде. Сырость».

Богданов сидел, закрыв глаза, и слушал плеск весел.

Гондольер напряженно орудовал веслом, поскольку лодка была тяжелая. Русских набилось, как сельдей.

Раскольников оказался прижат к Романовой. Ему было некуда девать руку, потому что рука с плечом тоже занимала место, по крайней мере десять сантиметров. Раскольников положил руку на плечо Романовой. Иначе было не выйти из положения.

Легкий итальянец-фотограф прыгнул на корму и щелкнул.

А потом оставил фотографию в гостинице у портье. Это его бизнес. Щелкнул без спроса и принес в гостиницу: хочешь – покупай, не хочешь – не надо. Он рисковал. Но риск оказывался оправдан. Почти все фотографии раскупались. И Романова тоже купила за те самые восемь тысяч лир. И до сих пор у нее есть эта фотография: он и она, ужаленные Италией.

Романова хотела, чтобы лодка двигалась вечно и никогда не приставала к берегу. Но лодка тем не менее пристала. Раскольников подал ей руку, помог выйти. А потом не отпустил руку. А она не отняла.

Днем что-то происходило. Какая-то экскурсия. Романова не запомнила. День вылетел из головы. Остался вечер.

Стемнело. Отправились гулять по городу целой группой. Не все улицы – каналы. Есть и просто улицы, вдоль них стоят богатые виллы, а в них живут богатые люди. Очень богатые.

«Па-сма-три», – выдохнул Лаша и замер напротив виллы из белого мрамора, увитой виноградом.

Его шок длился несколько секунд, за это время туристы свернули за угол. Лаша потерялся.

Следующими потерялись Юкин и Стелла. Группа медленно таяла в венецианских сумерках.

Романова и Раскольников зависли между небом и землей, взявшись за руки.

– Ты женат? – спросила Романова.

– Да. Но мы не живем вместе. Я полюбил другую женщину.

– А кто эта другая?

– Ты не знаешь. Она – мой редактор.

Но если он любит другую, то почему целый день не отпускает ее руку... Так не ведут себя, когда любят другую. Значит, он и другую тоже разлюбил. В этом дело.

– А где ты сейчас живешь? С кем?

– Один. Я живу за городом. На даче.

– Каждый день едешь на работу?

– Я не работаю. Вернее, работаю. Я пишу философский трактат «Христос и Маркс».

Романова удивилась: что общего между Марксом и Христом, кроме того, что оба иудеи.

– Я работаю ночью. А днем сплю.

– А во сколько ты просыпаешься?

– В восемь часов вечера.

– А когда ты ешь?

– Я ем один раз в сутки. Когда просыпаюсь.

«Поэтому такой худой», – догадалась Романова.

– Ночью прекрасно. Ни души. Я могу гулять, думать. Деревья, луна...

«Сумасшедший», – догадалась Романова. – Мания преследования. Избегает людей».

– Тебе кажется, что тебя кто-то преследует? – проверила она.

– Жена. Она приходит и все время от меня чего-то хочет. А я от нее уже давно ничего не хочу.

– А редакторша?

– Она любит меня. А я ее. Она ждет ребенка.

«Так, – подумала Романова. – Мне места нет».

Но отчего он так расстроен? Он любит. Его любят. Ребенок. Все же хорошо.

– У тебя все хорошо, – сказала Романова, гася в себе разочарование.

– Да, – кивнул он и вдруг обнял. Прижал. Руки оказались неожиданно сильные для такого легкого тела. Зарылся лицом в ее волосы. Дрожал какой-то нервной, подкидывающей дрожью.

Сели на лавку и стали целоваться. Его сердце стучало гулко и опасно, как бомба с часовым механизмом. Сейчас рванет – и все взлетит на воздух: прошлое, настоящее, будущее – все в клочки. И пусть. Разве не этого она ждала последние десять лет? Ждала и зябла от нетерпения...

– Иди сюда, – позвал он.

Зашли в телефонную будку. Было тесно и неудобно.

– Не надо, – сказала Романова, удерживая его руки.

– Надо...

Она услышала его руки на своем теле, будто он тщательно и осторожно подключал ее к высокому напряжению. К электрическому стулу. Сейчас ошпарит током и убьет. Так оно и оказалось. Долгая блаженная агония сотрясла все нутро. Душа отлетела. Потом вернулась. Медленно вплыла обратно. Романова очнулась.

– Родная, – тихо сказал Раскольников.

И это – правда. Они были одного рода и вида.

Именно ОДНОРОДНОСТЬ поразила, когда увидела его в первый раз, сидящего напротив. А вовсе не худоба и не цвет волос. Мало ли худых и светловолосых. Она увидела

его и о чем-то догадалась. Вот об этом...

Муж встретит в аэропорту. Она отдаст чемодан с джинсами, скажет «прости» и уйдет за Раскольниковым. Куда он – туда она. Он – в лес, она – за ним. Он будет днем спать – и она с ним. И гулять под луной, и есть раз в сутки, и разговаривать про Христа и Маркса. Только бы слышать его бубнящий голос, ловить витиеватую мысль на грани ума и безумия. И умирать. И воскресать.

Надя была непривычно молчалива. Она быстро, по-походному разделась и легла спать в майке, в которой ходила весь день. Носки она тоже не сняла. Ей хотелось спать.

А Романовой – говорить. Они не совпадали по фазе.

Романова давно заметила такие совпадения и несовпадения между людьми. Бывает: она работает, или варит кофе, или моет голову... И если в этот момент, явно неподходящий, звонит телефон, Романова понимает, что звонит не ЕЕ человек. Они на разных фазах. ЕЕ человек позвонит в подходящий момент, когда кофе выключен, голова вымыта, а работа закончена.

Надя лежала с закрытыми глазами.

– Ты спишь? – проверила Романова.

– А что? – отозвалась Надя.

– Ты знаешь этого... худого? – безразлично спросила Романова.

– Леньку, что ли...

Значит, у него есть имя. Леонид. Как небрежно она обращается с его именем.

– Он с Востряковой живет. На ее счет, – сообщила Надя.

– В каком смысле?

– Во всех. Она его кормит. Занимается его делами.

– Красивая?

– Была.

– Почему «была»? Она его старше?

– Лет на десять... Ну, может, на пять... – смилостивилась Надя.

– Он один живет, – возразила Романова.

– Слушай больше. Он расскажет.

Романова не огорчилась. Наоборот, ей понравилось, что о Раскольникове говорят пренебрежительно. Пусть он хоть кому-нибудь неприятен. Это делает реже толпу возле него. Легче протолкаться...

Единственная правда в Надиных словах – та, что редакторша не хороша. Она, Романова, много лучше.

Надя заснула.

Романова вспомнила, как он целовал ее после всего, боясь нарушить, расплескать, и поняла: так притвориться нельзя. Нельзя притвориться мертвым, сердце ведь все равно стучит. И нельзя притвориться живым, если ты умер. А любовь – в одной цепи: жизнь, смерть, любовь.

Существует еще одна цепь: семья, дети, внуки... Продолжение рода. Единственно реальное бессмертие. И Раскольников здесь ни при чем. Но почему он случился, Раскольников? Откуда этот бешеный рывок к счастью? Ее чувство к мужу увяло. Душа заросла сорняком. А свято место пусто не бывает. Вот и случился Раскольников.

Бабочка-однодневка живет один день. Собака – пятнадцать лет. Бывает любовь-бабочка, а бывает любовь-собака. Но ведь существует любовь-ворона. Двести лет... Дольше человека...

Флоренция

Венеция, Флоренция – какие красивые слова! От одних слов с ума сойдешь...

Галерея Уффици запомнилась длинными пролетами, подлинниками Боттичелли и тем, что Романова захотела в туалет по малой нужде. Она долго терпела, надеясь обмануть свою

нужду, отвлечь на произведения истинного искусства. Но нужда настаивала на своем и в конце концов потребовала незамедлительного поступка.

Где туалет? Кого спросить? И на каком языке?

К Раскольникову обращаться не хотелось. Для него Романова – фея. А феи в туалет не ходят. И питаются лепестками роз.

Экскурсовод рассказывал про Боттичелли. Богданов перебивал, не давал слова сказать и в конце концов сам стал вести экскурсию. Переводчица Карла была счастлива, не надо переводить. Экскурсовод не возражал: деньги те же, а работы меньше.

Романова подошла к двоеженцу и тихо попросила:

– Лева, проводи меня в туалет. Я заблужусь.

– Извини, – тихо сказал Лева. – Я не для того приехал в галерею Уффици, чтобы тебя в туалет водить.

Он сказал это без хамства, как бы с юмором, но ситуация становилась неразрешимой.

– Пойдем, – тихо сказал Раскольников и взял ее за руку. Повел.

Шли молча по бесконечному коридору. Он был бледен и напряженно думал о чем-то. Скорее всего о том, что делать с новой, свалившейся на него любовью. Закрепить за собою? Или отказаться? У него уже есть сын и должен появиться еще один.

– Да ладно, – сказала Романова. – Как-нибудь вырулим. Бог не выдаст, свинья не съест.

– Что? – нахмурился Раскольников. Он ничего не понял: какой Бог? Какая свинья? Куда вырулим?

Автобус летит по магистралям из города в город. Восемь дней, пять городов. Романова сидит с Раскольниковым в третьем ряду от конца. Они вдвоем. Она держит его за колено. Это уже ее колено. Он не отнимает и даже, кажется, не замечает. Но когда она убирает руку – сразу замечает. Мерзнет. Ему тепло от ее руки.

Раскольников говорит, говорит, но не так, как Надя. Вернее, она не так его слушает. Романова внемлет, ловит каждое слово, и знаки препинания, и даже паузы после точки.

Раскольников говорит о социализме, о Брежневе, о ситуации в искусстве, о своем месте, и получается, что ему там места нет. Такие, как он, получается, не нужны. И не надо. Он ушел в лес. В ночь. Он тоже никого не хочет видеть. И он пишет то, что ему интересно. А ИМ нет. Они это не будут читать. А если и прочитают – не поймут. ИМ бы чего-нибудь попроще...

Романова слушала и смотрела перед собой. Она верила Раскольникову и не очень. Так, как он, рассуждали многие неудачники. У них не получается, значит, кто-то виноват.

Лично ее карьера складывалась легко. При том же Брежневе. При том же социализме. Романова хорошо рисовала. Издательство ценило. Ее книги выходили. Читатели писали письма, в основном дети и их мамы. Иногда папы. Критика благосклонно похлопывала по плечу.

Травинка пробивает асфальт. Так и талант: проклюнется через любую систему. А если не получается пробить, значит, не сильный росток.

Система системой. Но ведь работают и сегодня талантливые художники. И все их знают. Есть таланты, которых зажимают. Но всем известно, кого зажимают. Получается двойная популярность: художника и страдальца.

– А Михайлов... – привела пример Романова. – Что хочет, то и делает.

– Нужна привыкаемость к имени. Если пробьешься, ты свободен.

– Пробивайся, кто тебе мешает.

– То же самое сказал Твердохлебов.

– Кто это? – не поняла Романова.

– Чиновник от культуры. Начальник. Он сказал Востряковой: «Пусть продирается, оставляет мясо на заборе».

«Вострякова – редактор, та самая, что ждет ребенка, – догадалась Романова. – Значит, она действительно занимается его делами».

– А я не хочу продираться сквозь них. Не хочу и не буду.

– А зачем Вострякова ходила к Твердохлебову? Что она ему носила? Философский трактат?

– Нет. Она носила мою пьесу.

– Ты пишешь пьесы?

– Да. Я пишу. И рисую. И у меня есть философские труды.

– Как Леонардо. На все руки.

– И ты считаешь, что гении были только во времена Возрождения? Только в Италии? А в России их нет?

Романова вглядывалась в него с дополнительным интересом. Вот оно как... Он считает себя гением современности. Мания величия. Плюс к мании преследования.

– Ты считаешь себя гением? – прямо спросила Романова.

– Потому что они считают меня говном. И если я им поверю и не буду сопротивляться, я и превращусь в этот минерал.

Нет, не сумасшедший. Просто неудачник с гипертрофированным самолюбием.

– Сколько тебе лет? – спросила Романова.

– Тридцать три.

Как Христу. Однако Христос в тридцать три уже умер, создав Веру. А этот все пробивается.

Замолчали. За окном бежали итальянские пейзажи.

– Ты совсем, что ли, не понимаешь, где ты живешь? – поинтересовался Раскольников.

Романова смущенно промолчала. Ну что делать, если она жила хорошо? Работала, как хотела. Не выполняла ничьих социальных заказов. Мальчики, девочки, кошки и собаки одинаково выглядят при любой системе. Она их рисовала. Ей платили. На еду хватало. И даже на юбку от спекулянтки. Она любила дочь. И жизнь. А это – вечное, от системы не зависящее.

Ей и в голову не приходило, что бывает другая жизнь, что юбку можно купить не у спекулянтки – какую подсунут, а в магазине – какую ты сам себе выберешь. Что жить можно не в муниципальном многоэтажном доме, в каких живет на Западе арабская нищета, а иметь свой дом. И даже два. И твой талант – это твоя интеллектуальная собственность, которая защищается законом, как всякая собственность.

– Растительное создание, – усмехнулся Раскольников. – Живешь, как лист при дороге. Подорожник.

«Да, подорожник, – мысленно согласилась Романова. – Его трудно сорвать. Он жилистый. Его хорошо прикладывать к ране. Успокаивает».

Полезная вещь подорожник.

– А ты нарцисс, – определила Романова.

Самовлюбленный, нестойкий, красивый. Очень красивый. Глаз не оторвать. Романова и не отрывала. Ее взгляд будто прилепили к его лицу. И этот прилепленный взгляд несся со скоростью сто километров в час по прекрасным итальянским дорогам.

А все дороги, как известно, ведут в Рим.

Рим

– Я заеду за тобой в четыре часа, – кричала по телефону Маша. – Возьми Михайлова.

– Зачем?

– Арсений попросил. Он тоже поедет с нами.

Арсений – оперный певец, поющий в «Ла Скала». Он был приглашен по контракту. Большая редкость для семидесятых годов. Почти экзотика. Один или два человека из огромной России работали на Западе с согласия обеих стран. Это был признак избранности. Как будто пригласили не в Италию, а на Олимп к богам.

Маша – институтская подруга Романовой. Она вышла замуж за итальянского журналиста и переехала в Рим. Это было совершенно логично, когда итальянец из всех

русских женщин выбрал Машу. В Маше было все, что положено: ум, красота, доброта и еще плюс к тому какой-то особый слух к жизни. Она вставала утром, говорила: «Здравствуй, утро» – принималась за день иначе, чем все. С аппетитом, будто ей этот день подали на блюде и она орудует вилкой и ножиком.

С Машей было весело, как под солнцем. А когда уехала, все погрузилось в серый полумрак. То, да не то.

Романова тосковала по подруге. А Маша осваивала новую страну, новую жизнь, новую себя. Прорывалась, оставляя мясо на заборе. Капитализм – это не легче, чем Твердохлебовы.

– Я покажу тебе свой Рим, – пообещала Маша. – А потом мы все вместе пообедаем.

В программе был Рим глазами избранных и обед в дорогом ресторане. Но в эту программу не входил Раскольников. И значит, все теряло всякий смысл.

– А можно еще одного человека взять? – спросила Романова и добавила: – Он мало ест. У него язва.

– Нельзя, – отрезала Маша. – Машина «блошка». На четыре места. А нас уже четверо: я, ты, Михайлов и Арсений.

На ресторан уйдет часа два. Два часа без Раскольникова. Это все равно что два часа просидеть под водой, зажав нос и рот.

– Я буду в четыре, – повторила Маша. – Стойте перед гостиницей на улице.

Маша была убеждена, что Романова мечтает о Риме, изысканной еде, полноценном общении. Ей и в голову не могло прийти, что она готова променять это все на полслова, полвзгляда какого-то ущербного неудачника с пустыми амбициями.

Романова подошла к Руководителю и сказала, что не поедет смотреть собор Святого Петра, так как у нее встреча с подругой.

– Ваше дело, – легко разрешил Руководитель. – По мне – я бы вас распустил на все четыре стороны и назначил сбор в день отлета.

Для него как для Руководителя важно, чтобы все вернулись в полном составе. А поведение внутри страны – это личное дело каждого.

– Спасибо, – тускло сказала Романова.

Она еще надеялась, что ей запретят. Скажут «нет». И тогда она останется с Раскольниковым. Но сказали «пожалуйста».

– А Минаев с вами пойдет? – спросила женщина в кудельках.

«Кто такая?» – подумала про себя Романова. Она не помнила, когда та присоединилась к группе: в Москве? Или в Италии? Но выспрашивать, естественно, не стала. Она слышала: с оркестрами выезжают дополнительные люди, они называются «настройщики». Что-то настраивают.

– А почему он должен со мной пойти?

Романова как бы возвращала вопрос. Пусть отвечает «настройщица». Пусть она сама отвечает на свои вопросы.

Автобус уже ждал возле гостиницы. Все рассаживались на привычные места.

– Я тут отлучусь ненадолго и сразу вернусь. Ничего? – спросила Романова.

– Ничего, – сказал Раскольников. Он был бледен. Держал руку на животе.

– Болит? – посочувствовала Романова.

– Болит.

– Если хочешь, я останусь с тобой.

– Не обязательно.

– Почему?

– Мне хочется помолчать. Мне надо подумать...

Теперь была ее очередь обижаться.

Романова пристально посмотрела на Раскольникова и решила не обижаться.

Ему надо подумать. Разобраться в сложном треугольнике. Не треугольнике даже, целой призме. Столько переплетений... Надо как-то расселить всех в своей душе. Чтобы никто не пострадал. Но ведь это невозможно. Кто-то обязательно пострадает. Значит, надо подумать,

подвигать фигуры, как на шахматной доске...

Сидели в дорогом ресторане на улице Бернини.

Принять заказ вышла хозяйка ресторана. Арсений – престижный гость, поэтому ему оказывали почести.

Хозяйка предлагала блюда, записывала меню: жареные бананы, мясо на решетке, плоды из сада моря: лангусты, креветки, устрицы и прочие морские черви.

Романова отметила платье хозяйки: простое, как все дорогие вещи, из натурального шелка. Хозяйка выглядела как фотомодель. Это тоже входило в бизнес.

Романова представила себя в таком платье. Пришла бы в нем к Раскольникову. А он бы сказал: «Я все равно живу ночью, когда все спят. Я никуда не хожу, и тебя никто не увидит». А она бы ответила: «Ты увидишь, ты. А больше мне никто не нужен».

– Ты хотел бы здесь остаться? – спросил Михайлов у Арсения.

– Мне предлагают, но я не хочу, – ответил Арсений.

– Почему? – спросила Романова.

– Не хочу, – уклонился Арсений.

– Творческий человек должен жить там, где ему работается, – произнес Михайлов.

Романова всматривалась в Михайлова. Линия верхнего века была у него прямая, как у Ленина. Вернее, как у чуваша.

Мысль, высказанная Михайловым, была бесспорна: творческий человек должен жить там, где хорошо его ДЕЛУ.

Принесли закуски. Романова начала есть жареные бананы и была так голодна, что не могла смаковать, а забрасывала в рот один кусочек за другим, как картошку, и наелась до того, как пошли основные деликатесы.

Маша не ела ничего. Рассматривала книгу Романовой «Жила-была собака». Книга – яркая и блестящая, как леденец. Это была большая удача – и Шуркина, и ее. «Мы с тобой сорвали грушу, висящую высоко», – говаривал Шурка.

Маша рассматривала книгу и не могла не думать о себе, вернее – о своей праздности. У Романовой – дочь, книга. А у нее ни того, ни другого, хотя они ровесницы и учились вместе. У нее – Антонио и достойная страна. Это много: муж и страна. Но это – не кровное. Кровное – дело и дети.

– Если я нарисую лучше, чем ты, – неожиданно сказала Маша, – ты мне простишь?

Романову поразил глагол «простишь».

– Прощу, – серьезно сказала Романова. – И буду рада. Но ты не нарисуешь.

– Почему?

– Потому что талант – это прежде всего потребность в работе. А ты до сих пор не подошла к мольберту. Значит, у тебя потребности нет.

– Так, как ты, я смогу.

– Это кажется, – объяснила Романова. – Для того, чтобы делать картинку, даже такие, надо все бросить. И всех. Ты не захочешь. Ты слишком любишь жизнь.

– А ты?

– А для меня мои картинка – это и есть жизнь.

– Этого хватает?

– Нет, – созналась Романова. – Не хватает.

Маша промолчала. У нее было все, кроме картинок. Общим не хватало большого куска пирога в жизни. Они это понимали. Они дружили честно. Зависть не разъедала их дружбу. У каждой были свои козыри в колоде.

Арсений о чем-то тихо разговаривал с Михайловым. Они были оба толстые, но толстые по-разному. Михайлов – от неправильной еды, от большого количества пустой, небелковой пищи. А Арсений толст профессионально. Твердый жир держит диафрагму, а на диафрагму опирается звук, особенно верхнее ля, из-за которого он попал в «Ла Скала».

У Арсения было внимательное, заинтересованное лицо, и весь он был дружественный, щедрый, вальяжный, но Романова видела, что он куда-то торопится. В свою жизнь. Отдает

долги старой дружбы. Однако его поезд ушел далеко вперед и мелькают другие полустанки.

Позже, когда прощались, усаживались в машину и машина тронулась, Романова оглянулась назад и увидела лицо Арсения. Он смотрел куда-то в сторону и уже забыл о ресторане, о русских. Спустя секунду он забыл обо всех напрочь. Начиналась другая жизнь.

Обидно? Да нет. Невозможно ведь быть необходимой каждому человеку. Однако такая скоротечность наводит на философские размышления о жизни и смерти. Только что сидели за столом – и вот уже расстались навсегда.

– Я сейчас покажу вам свою точку, – сказала Маша.

– Какую точку? – не понял Михайлов.

– Здесь на горе есть потрясающий ракурс: кусок Рима и дерево. Шатер зелени и черепичные крыши...

Романова хотела в гостиницу. Ей не нужна была чужая точка. И шатер зелени тоже не нужен. Но Маша уже остановила свою машину.

– Сюда! – позвала Маша, и Романова послушно пошла. И встала. И смотрела. И было красиво. Но не нужна эта красота ей ОДНОЙ. Без со-участия, со-переживания близкого ей человека. Это все равно что в одиночку есть жареные бананы.

А Михайлов смотрел сощурившись и закладывал этот пейзаж в свой внутренний компьютер. Когда надо, он вызовет из памяти и бросит на холст.

Советские туристы располагались на двух этажах маленькой дешевой гостиницы. Романова не знала, в каком номере живет Раскольников, и решила заглянуть в каждый. Искать методом тыка. Этот метод был самым длинным, но самым безошибочным.

Романова толкнулась в первый от двери номер и увидела тетку с кудряшками. Вернее, в процессе создания кудряшек. Она закручивала волосы на резиновые бигуди.

– Простите, который час? – спросила Романова, будто именно за этим и пришла.

– Одиннадцать, – ответила тетка.

Значит, Романова отсутствовала семь часов. А ей казалось: от силы часа три. Не больше.

– Спокойной ночи, – растерянно пожелала Романова и скрылась.

«Ищете», – догадалась тетка. Она была воистину инженером человеческих душ, хоть и не имела к искусству никакого отношения. У нее было свое искусство.

Романова постучала в номер рядом.

Дверь распахнулась. В номере сидели Юкин, Стелла и Надя Костина. Классический треугольник: Стелла – вершина треугольника, а Юкин и Надя – в основании. Они пили, закусывали орехами, и в номере был беспорядок, доведенный до той степени, которая называется «бардак».

– Заходи, – пригласила Надя.

– Спасибо. Потом.

Романова захлопнула перед собой дверь и ушла в другой конец коридора. Она боялась, что компания выбежит и затацит ее в этот мусор и дым и бредовые мысли.

На другом конце тоже были двери. Романова сунулась в одну из них и увидела Лашу. Он лежал под одеялом и слушал музыку из репродуктора. В итальянских гостиницах предлагается три музыкальных канала: современный тяжелый рок – для молодежи, нежные мелодии ретро – для старичков и классическая музыка – для интеллектуалов. Для высоколобых.

Лаша выбрал ретро. Высокий тенор сладко летал над Лашей.

– Ой, – сказала Романова и дернулась обратно.

– Не уходи, – грустно попросил Лаша.

Романова задержалась в дверях.

– Сядь.

– Нет. Я постою.

– Ты счастлива? – неожиданно спросил Лаша.

– Вообще? Или здесь? – уточнила Романова.

- Здесь. И вообще.
- Не знаю, – честно сказала она.
- А можешь быть счастлива?
- Не знаю.
- Разве это не от тебя зависит?
- Не только.
- А по-моему, от человека все зависит.

Романова задумалась. Что она может дать Раскольникову? Свои тридцать семь лет, талант и дочь Нину. 37 лет – возраст хороший, но впереди мало молодости. Нина – девочка хорошая, но чужая. Не его. И талант – тоже субстанция спорная. Он отвлекает, тянет на себя и, значит, отбирает Романову от других людей, и от Раскольникова в том числе. Он будет одинок рядом с ней.

- Почему ты молчишь? – спросил Лаша.
- Счастье – не только брать. Но и давать. А что я могу дать другому человеку?
- Себя, – сказал Лаша.
- Ты думаешь, этого хватит?
- Смотря кому.
- Вот именно.

Помолчали. Лаша подумал, что Романова нуждается в его поддержке. Он должен сказать «мне бы хватило». Но это – неполная правда. Часть правды. Он хотел Романову сейчас, в одиннадцать часов, в отеле, в Риме. А что будет через месяц в это же время в Москве – он не знал. Но ему казалось, что Романова ждет. Что она пришла не случайно.

– Я не знаю, влюблен я или люблю. Я это узнаю только в Москве, – честно сказал он. – На расстоянии. Поэтому я сейчас не хочу выпускать зверя.

- Какого зверя? – не поняла Романова.
- И у меня изжога, – добавил Лаша.
- У Раскольникова тоже плохо с желудком. Ты не знаешь, в каком он номере?
- Кто?
- Минаев... – поправила себя Романова.
- Не знаю, – обиделся Лаша.

Оказывается, она ищет этого дистрофика Минаева, а в его звере не нуждается, и ей как-то все равно: выпустит он его или нет. И куда.

- Спокойной ночи, – пожелала Романова.

Вышла в коридор. Мимо прошел Руководитель с большой коробкой в руках. В отличие от остальных у него была валюта, и он покупал на нее фужеры из флорентийского стекла. Фужеры были уложены в коробки, на которых изображалась рюмочка.

Руководитель смутился, будто его руку застали в чужом кармане. Романова тоже смутилась. Ей казалось, Руководитель догадывается, зачем она здесь стоит.

Романовой стала оскорбительна ее миссия: бегать по номерам, искать методом тыка. Почему она это делает, а не он? Кто из них двоих женщина?

Романова взяла ключ у портье и поднялась к себе в номер на втором этаже.

Кровати стояли не рядом, а в разных концах комнаты. Большая удача.

Романова легла и закрыла глаза, заставляя себя заснуть. Ей хотелось как можно скорее перескочить через эту ночь в новый день. Увидеть. И сказать «здравствуй». И заглянуть в глаза. И понять: как он переставил шахматные фигуры. Кто она теперь: королева, ладья или пешка.

Она увидела его за завтраком. Подавали то, что называется «пти дежене», – маленький завтрак. Свежие хрустящие булочки-круассаны, джем, масло, сыр, благоухающий кофе. Группа сидела за общим столом. Двоеженец Лева пребывал в замечательном настроении: он шутил, развлекал всех, и его доброжелательность, как сигаретный дым, наполняла помещение и вдыхалась каждым.

Раскольников изменился. Романова увидела его сразу, еще в дверях. Он как-то

затвердел и удалился. Удалился ото всех. Вполз, как улитка в панцирь.

– Привет! – радостно поздоровалась Романова и села рядом. Возле него стоял свободный стул. Это был стул для Романовой, и его никто не занимал.

Раскольников не отозвался на привет. Даже не повернул головы. Его не было, хотя он сидел рядом. Романова потрясла за рукав, но он не качнулся. Не отвечал – ни на слова, ни на жест.

«Обиделся», – поняла Романова. Она измучила его разлукой. Значит, скучал. Значит, большое чувство. Иначе откуда такое затвердение? Романова решила не дергать его на людях, а поговорить при удобном случае. Сказать, что она страдала так же, не меньше. Что не может без него жить. Что согласна. На что? На все.

Случай представился в Ватикане. Ватикан – музей. Романова – художник. Она не просто смотрит. Она – ВИДИТ. Но сейчас она видит только профиль Раскольникова. Медный голос объявил через микрофон:

– Давайте помолчим и в полной тишине воспримем творение человеческого гения.

Голос шел откуда-то сверху, как с небес, из ада, куда сыпались голые мужчины с полотна Микеланджело. Вокруг установилась тишина благоговения.

– В чем дело? – спросила Романова в полной тишине. – Что происходит?

На нее обернулись.

– Мы должны расстаться, – коротко ответил Раскольников, глядя перед собой. – Со временем я тебя найду.

«С каким временем?» – растерянно подумала Романова. Она минуты без него не может. Мечется, как в бреду. Жизнь без него – бред.

– Почему расстаться?

– Я сделал выбор.

– А зачем выбирать? Пусть у тебя будут две.

Она хочет его ВСЕГО. ВСЕГДА. Но если это невозможно, то пусть урывками, по кускам. Как угодно. Она будет жить ожиданием. Это будет ЖИЗНЬ. А без него – НЕ ЖИЗНЬ. Хуже, чем смерть. Потому что смерть – это отсутствие всего, и страданий в том числе. А без него – страдания, ежедневные, ежеминутные.

Они куда-то шли по пролетам Ватикана. Шагали.

– Пусть у тебя будут две, – повторила она, внушая, вколачивая в него эту идею.

– Ты ничего не понимаешь, – сказал Раскольников, не останавливаясь и не глядя.

Пусть не понимает. Но что же делать? Она же не может вот тут прямо заплакать, чтобы все видели. Видели, а вечером обсудили. И привезли в Москву, и всем бы рассказали – по телефону и в личной беседе. Жизнь скучна, люди рады новостям.

– Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности.

Эта фраза – как веревка, брошенная утопающему. Романова тут же ухватилась за веревку.

– А я хочу!

Пусть будут неприятности: разрыв с семьей, потеря привычного бытия. Но только рядом. Неприятности с НИМ. Лучше, чем блага без него.

– Ну хорошо, – мрачно согласился Раскольников. – Будут.

Группа влезла в автобус. Автобус отправлялся на следующую экскурсию. В Колизей.

Романова подошла к Руководителю.

– У меня встреча с подругой. Высадите меня возле гостиницы, – попросила она.

– Вы уже встречались с подругой, – заметила тетка с кудельками.

– Мы обедали. А теперь идем платье покупать, – как школьница отчитывалась Романова.

– Вам платье важнее памятника старины?

– Ей подруга важнее, – сухо сказал Руководитель. – Идите.

– Спасибо, – оробело поблагодарила Романова.

За теткой стояла какая-то сила, а Романова боялась силы, как боялась, например,

бандитов и быков. Тетка – то и другое, хоть и с кудельками и крашеными губами. Бык с кудельками и крашеными губами.

Автобус остановился возле гостиницы.

– Я плохо себя чувствую, – сказал Раскольников Руководителю. – Я пойду полежу.

– Идите, идите, – отпустила тетка.

Она давно заметила, что Минаев ничего не ест, у него открылась язва и может быть прободение, внутреннее кровотечение, а значит, срочная операция в западной клинике. Пусть полежит в номере, дотянет еще четыре дня и вернется в Москву. А в Москве за него никто не отвечает, кроме здравоохранения. Но это уже не ее забота.

– Идите, – повторила тетка, боясь, что Минаев передумает и продолжит экскурсию.

Дверь автобуса разомкнулась. Раскольников сошел первым и подал руку Романовой.

Автобус двинулся дальше. Туристы смотрели на них из окна. И, как казалось Романовой, все понимали, зачем они остались и чем сейчас займутся.

– Неудобно, – сказала Романова.

– Перед кем? Кто тебя волнует? Кэгэбешница? Или пьяница Юкин?

Романова не ответила.

– Пойдем. – Он взял ее за руку. – Пойдем ко мне.

– Почему к тебе?

В своем номере она была как бы дома и чувствовала себя увереннее. Но он уже вел ее к себе, в конец коридора. Именно отсюда она вчера ушла, от этой двери.

Вошли в номер. Потолок был высокий. Окно большое. Стены белые. Как больничная палата в сумасшедшем доме.

– Давай прощаться...

Все-таки прощаться. Все-таки он ее не выбрал. И не хочет, чтобы у него было две.

Он обнял, стал целовать ее лицо торопливыми поверхностными поцелуями, как будто старался охватить как можно больше площади. Целовал лицо, волосы, плечи, руки... В этом было что-то нервное и странное. Так не целуют, когда хотят овладеть. Так целуют перед самоубийством.

– Что с тобой? – отпрянула Романова.

– Я ухожу.

– Из жизни?

– Может быть, из жизни.

– Из-за меня?

– Да при чем тут ты... Я сделал выбор. Я ухожу просить политического убежища. В американское посольство.

Романова осела на кровать. У нее отвисла челюсть – в прямом смысле этого слова. Видимо, организм реагирует на внезапность определенным образом, ослабевают связки, и челюсть отваливается вниз.

– Закрой рот, – сказал он и пошел к шкафу.

Снял со шкафа дорожную сумку, стал наполнять ее, запихивать необходимое. Среди прочего – путеводитель по Италии. Вот зачем он его взял. Значит, еще в Москве вынашивал это решение. И она, Романова, действительно ни при чем. И это было самое обидное, как пощечина.

Как две пощечины: слева и справа. Утрата и предательство. Он выбирал не между двумя женщинами, как ей казалось. А между двумя странами. А она, Романова, тут вообще ни при чем.

Он вытащил из-под кровати чемодан, засунул в сумку кое-что из чемодана. На дне остались пара белья и две бутылки водки. Это он оставил для конспирации. Чтобы не сразу хватились. Заглянули бы в чемодан, а там не пусто. Значит, вернется. Не уйдет же человек без водки и без трусов.

Почему-то именно эти катающиеся бутылки и комочки белья вывели Романову из шока, вернули в реальность.

– Ну ладно, – сказала она. – Я ни при чем. Но есть ведь другие люди. Вся наша группа. Каждый дожил до СВОЕЙ Италии. Платил большие деньги.

– Я о сыне не думаю, а должен думать о твоём Богданове...

Он говорил жестко. Потому что он – решил. Все это время он мучился, а вчера, в ее отсутствие, – принял решение. Романова поняла, почему он утром затвердел и удалился. Он порвал с группой все связи, как труп порывает все связи с жизнью. Поэтому он твердеет и удаляется.

Раскольников сбегал, а значит, совершал преступление. И обратная дорога ему заказана. Его дорога в один конец. Как в смерть.

– Мне страшно за тебя, – сказала она. – Куда ты денешься?

– Не знаю. Денусь куда-нибудь. Я не сюда уйду. Понимаешь? Я уйду ОТТУДА.

Сумка была забита и тяжела для его легкого тела.

– Может, передать что-то твоим... записку или на словах...

– Не надо. Я сам найду возможность.

Такие вещи не передают через третье лицо. Надо позвонить самому и сказать: «Я предал вас, как Иуда Христа. Мне тяжело. Я, может быть, повешусь. Но это не меняет дела. Я предал вас».

Это совсем другое, если позвонит Романова и скажет: «Он предал вас».

– Ну... все. – Он повернулся. Пошел к двери. Романова сделала внутренний рывок и как бы отделилась от себя прежней – влюбленной и зависимой. В ней сработала ВЫСШАЯ любовь, освобожденная от эгоизма, – самоотречение материнства. Она хотела сохранить его не для себя. Просто сохранить. Для него самого.

Сейчас он как ребенок, который стоит на подоконнике шестнадцатого этажа. Не ведает, что творит. Окно раскрыто. Шагнет – и исчезнет. Но есть еще несколько секунд. Их можно использовать.

– Подожди!

Он обернулся.

– За мной сейчас заедет подруга. Она живет в Италии. Посоветуешься. Может быть, она поможет тебе как-то...

Раскольников опустил глаза в пол. Раздумывал. Он ведь не знает подругу. Может, она тоже работает на КГБ. Он и Романову толком не знал. Они знакомы четыре дня поездки.

– Пойдем! – Романова поднялась с кровати. Властно взяла за руку. Повела за собой на улицу. Раскольников шел следом, в его лице и поступи читалось сомнение.

Машина уже стояла у входа. За рулем сидела Маша.

Она высунулась и спросила с возмущением:

– Ну кто так опаздывает в Италии?

Оказывается, было уже половина пятого. Мало того что Маша собиралась тратить деньги на платье и время на его поиски, она еще тратила энергию на унижительное ожидание.

Романова залезла в машину. Раскольников опустился рядом на сиденье. Он сидел рядом, но далеко. Как труп близкого человека. Романова испытывала связь и отчуждение одновременно. Как живое с неживым.

– Представляешь! – с возбуждением объявила Романова. – Он решил сбежать! Собрался. Идет просить убежища...

Для шутки это звучало жутковато. Маша поняла: не шутка. Раскольникова покорило. Он промолчал.

– Маша, – представилась Маша, будто не слышала предыдущей фразы.

– Леонид Минаев, – глухо представился Раскольников.

Романову познабливало. Она испытывала странное состояние: смесь реальности с вымыслом. Все смешивалось, как в мозгах сумасшедшего.

Маша остановила машину возле кафе. Столики и стулья из плетеной пластмассы стояли прямо на площади.

– Сядьте, – строго, как учительница, приказала Маша.

Раскольников сел за столик. Маша была красивая, но чужеродная. Она была ему не нужна. И это времяпровождение в кафе – тоже не нужно. Он шел к цели, а остальное – Маша, Романова, кафе, разговоры – это препятствия, которые надо обойти.

– Слушайте меня внимательно, – приказала Маша.

Раскольников воздел свои глаза и смотрел без всякого смятения.

– Ничего не бывает просто так, – убежденно начала Маша. – Значит, не случайно вы попали с Катей в одну группу. Не случайно Катя привела вас в мою машину. Не случайно мы здесь сидим. На этой площади. Вы – на пороге перемены жизни. Провидение Господне МОИМИ УСТАМИ говорит вам: НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО.

– Но я не хочу жить с большевиками. Я их ненавижу.

– Значит, надо нормально, легально уехать.

– Как? Я не еврей.

– Жениться, пусть фиктивно. Я привезу вам жену. Я обещаю.

– Я не хочу ждать, терять время. Мне некогда. Мне уже тридцать три года, – сказал Раскольников.

– А как вы собираетесь зарабатывать на жизнь? Вы умеете писать на чужом языке? Вы умеете думать на чужом языке? Учтите, русский не нужен никому.

– Я могу дворы подметать.

– Все метлы розданы, – жестко отрезала Маша. Как будто метлы зависели от нее.

Романова с испугом переводила глаза с одного на другого.

– И учтите, – продолжала Маша. – Когда вы придете к американцам просить убежища, они вас выдадут. У посольских людей есть договоренность. Вы не представляете для американцев никакого интереса. Они вас отдадут своим. А свои – в самолет и в Москву. С сопровождением. А у трапа самолета уже будет ждать «скорая» – и в психушку. И все дела. Очень просто.

Нависла пауза. У Романовой заледенела кровь. Ничего не надо – ни любви, ни счастья, ни победы над Востряковой – только бы не психушка. Он и в самом деле сойдет с ума. Ему немного надо.

– Леня! – взмолилась Романова. Она вдруг вспомнила, как его зовут. – Леня, подумайте! Я клянусь вам, я никому не расскажу. И если хотите, я даже не подойду к вам больше.

Романова незаметно для себя перешла на «вы». Это «вы» было как бы началом отчуждения. Они едва знакомы. А если надо – то и вовсе не знакомы.

– Вы посидите один, за столом, в автобусе. Обдумаете все хорошенько. А в последний день – решите. Захотите – уйдете. Или останетесь...

Романовой казалось: если она потянет время, она выиграет.

Если ребенок стоит на краю и есть несколько секунд, то можно, подкравшись сзади, схватить его за плечи и сдернуть с подоконника. Пусть он испугается и даже ушибется. Но будет жив.

– Леня. – Романова нашла его зрачки и через них стала стучаться в душу. – Леня... Пожалуйста...

– Ну хорошо, – сухо сказал Раскольников. Он не открыл дверь в свою душу и сказал это как бы из-за двери. – Хорошо... ВСЕ.

Романова выдохнула напряжение. Расслабилась. В ней все осело, как весенний снег.

Маша заказала мороженое с живыми ягодами.

Маленький оркестрик запел песню. Оркестрик состоял из двоих: мандолина и аккордеон.

Эта песня была известна в России. Но по-итальянски она звучала иначе, и чувствовалось, что итальянские слова гармонично сплетаются с мелодией, а русские – не гармонично.

Романова сидела в блаженном каком-то состоянии, как после родов, после боли и

опасности. Внимала песне, и эта песня проникала в самые кости и отзывалась в них. Включился художник. Независимо от Романовой начинало работать воображение – она мысленно накидывала на холст: два музыканта с черными усами, треугольник мандолины, квадрат аккордеона, рты в форме буквы «о», страждущий профиль человека с крылом песчаных волос и две распростертых руки Романовой. Надо всем – руки, руки, руки...

Хорошо можно написать только то, что прошло через тебя. Прошло насквозь. Через сердце. Навылет.

– Боже мой... – с тоской сказала Романова. – Как я когда-нибудь это напишу...

– Все вы такие... эгоисты и сволочи, – неожиданно заключила Маша. – Все самое ценное бросаете в костер.

Романова догадалась: «вы» – это Антонио. Ее муж. Журналист. Не считается ни с чем во имя своей профессии. Все самое ценное – в костер. И Маша – в костер.

– Но мы же не для себя, – сказала Романова. – Мы жжем костер для людей. Чтобы грелись.

– Вот именно, что для себя. На других вам плевать.

Маша тоже недовольна жизнью, но скрывает от соотечественников. Никто не счастлив. И нигде.

– А до каких часов работают магазины? – спохватилась Романова.

Маша посмотрела на часы:

– У нас еще есть полчаса.

– Пойдешь с нами? – Романова обернулась к Раскольникову.

– Нет. Я не люблю магазины. Я вас здесь подожду.

– Мы быстро. Туда и обратно. А то я с твоими перемещениями без платья останусь.

Он промолчал.

«Обиделся, – подумала Романова. – И черт с тобой». Он вдруг надоел ей сильно и мгновенно, как головная боль. Захотелось встать и уйти, и купить новое шикарное платье, и зашагать в нем по Италии, как хозяйка жизни, а не раба любви. Жертва чужой авантюры...

Времени было мало, нервы издерганы, поэтому Маша и Романова спешили, нервничали, мерили, снимали, опять мерили и судорожно стаскивали через голову одно платье за другим. Лавочка была маленькая, примерочная тесная, и все кончилось тем, что купили дорогое платье – дороже, чем планировала Маша. От этого настроение у нее упало. И когда вышли из лавочки – обе молчали, переживая второй шок за сегодняшний день.

Своих денег у Маши не было, значит, она залезла в карман мужа и, значит, придется объясняться. Антонио – жаден до тошноты, и разборка займет неделю.

– Я в Москве отнесу деньги твоей маме, – сказала Романова.

Она шла в новом платье, почти таком же, как у хозяйки ресторана, а старое несла в пакете. Она хотела поразить Раскольникова. Он увидит ее в новом платье и скажет: «Я не собирался любить тебя, это не входило в план. Но я влюбился. И поэтому я остаюсь. Я остался только из-за тебя...»

Маша подумала с удовлетворением, что она не потеряла деньги, а как бы перераспределила капитал, сделала подарок своей маме. Она ведь должна помогать маме, живущей в социализме и дефиците, а попросту – в нищете. Но Антонио безразлично, куда уходят деньги – на подругу или на маму. Они УХОДЯТ от него и машут на прощание рукой.

– Как ты думаешь, он не сбежал? – заподозрила Романова.

– Да нет. Он струсит. Он трус.

– Почему? – удивилась Романова.

Сбежать в чужой стране – поступок почти героический.

– Если решил уйти, зачем тебе сказал? Зачем он на тебя это повесил?

– А зачем?

– Чтобы не тащить одному. Это – тяжесть. А вдвоем легче.

Маша помолчала, потом добавила:

– Все они эгоисты и сволочи.

Вышли на площадь. Раскольников не было.

– Ушел, – сказала Романова. В ней все рухнуло.

– Он в гостинице, – убежденно возразила Маша. – Спать лег.

По площади летали голуби. Индусы продавали свою продукцию, которая была разложена прямо на асфальте: платья, бусы, фигурки из сандалового дерева.

Между людьми и платьями ходил наркоман, курил свою наркоманскую самокрутку, жадно затягиваясь. Он был в кожаном пальто, надетом на голое тело, длинноволосый блондин, отдаленно похожий на Раскольникова, но красивее. Крупнее. Просто красавец.

«А где его мама?» – подумала Романова. Все заблудшие люди казались ей детьми.

В середине площади странный парень в набедренной повязке выполнял йоговские упражнения, складываясь и разгибаясь, как гуттаперчевый мальчик. Глаза его смотрели странно, казалось, видели другое, чем все, – и Романова поняла, что он тоже под кайфом, под мощной дозой.

Возле собора спиной к стене сидели трое нищих: старушка, женщина и девочка. Бабушка, дочка и внучка. Три поколения.

– Пусть у нас тоталитарный режим, – сказала Романова. – Но нищие так не сидят и наркоманы не разгуливают.

– У нас есть ВСЕ, – сказала Маша. – И нищие. И наркоманы. И гении.

– Я вернусь в гостиницу, – решила Романова.

– Пойдем поужинаем, – предложила Маша. – От того, вернешься ты или нет, ничего не изменится.

Маша потратила большие деньги на платье. А теперь готова платить за ужин. Все равно разборка. Все равно терпеть. Семь бед – один ответ. Антонио дал ей много: себя в свои сорок лет, Италию, Рим. Точку на горе с серебряной зеленью шатра и терракотом черепицы. Но Антонио обладал талантом сунуть ложку дегтя в бочку меда, и уже не нужен тебе этот мед, воняющий дегтем. И что толку от этой бочки... Но Маша давно заметила – за все приходится платить. Как за платье. И чем больше получаешь, тем дороже плата.

Ресторанчик – шумный, тесный, стилизованный под кабачок. Люди сидели на простых лавках.

Маша подняла тарелку с рыбой к носу. Не опустила голову к столу, а подняла тарелку. Это почему-то запомнилось.

– Ты что нюхаешь? – удивилась Романова. – Не доверяешь?

– Просто так, – не ответила Маша.

Она не доверяла никому и ничему. На всякий случай.

Богданов сидел на своей кровати и рассматривал книгу, которую удалось купить сегодня, – Бердяев. Бердяев смотрел с обложки: черный берет, острая борода и особое выражение лица, которого совершенно не бывает на современных лицах. Современные лица отражают все, что угодно, кроме покоя. Вот еще одно современное лицо: Катя Романова. Ворвалась, как будто за ней гонятся сорок собак.

Катя смотрела на пустую кровать Раскольникова. На чемодан – он слегка выдвинут, именно так, как был оставлен. Значит, Раскольников не возвращался.

– Простите... А где Леня?

– А разве он не с вами? – простодушно удивился Богданов. – Я думал, что вы не расстаетесь...

– До свидания, – тускло попрощалась Катя.

У нее был такой вид, как будто собаки догнали ее и растерзали. Растащили по кускам. Романова поднялась в свой номер, на свой второй этаж. Сняла новое платье. Легла. Руки и ноги стали ледяные, видимо, сердце плохо толкало кровь.

Надя Костина укладывала чемодан. Завтра утром переезд в другой город. «Куда мы едем? – напряглась Романова. Заболела голова. – В Геную, кажется. А может, и не в Геную». Теперь уже все равно. Ее путешествие кончилось.

* * *

Русская зима. Крутая гора. Романова на детских санках съезжает с горы. Стремительное скольжение. Дух захватывает от восторга. И вдруг впереди явственно видит прорубь с зеленоватой водой. Санки несет прямо в прорубь. Ничего нельзя сделать. Сейчас она утонет. Осознание смерти за несколько секунд до смерти...

Зазвенел телефон. Романова спохватилась. Никакой проруби. Номер в отеле. Рим. Италия. Раскольников ушел.

– А... – сказала Романова в трубку.

– Катя, вы извините. – Узнала голос Руководителя. – Пропал Леня Минаев. Вы последняя, кто видел его...

Руководитель ждал, что она начнет говорить, но Романова молчала. Выжидала. Да. Последняя. И что с того?

– Вы не знаете, куда он пошел из гостиницы? Он вам ничего не говорил?

– Он говорил, что хочет купить пишущую машинку, – соврала Романова.

– Да... У него были деньги...

– Я встречалась с подругой. Мы купили платье. Потом сидели в ресторане.

Романова поймала себя на том, что отчитывается.

– Мы ели рыбу...

– Да-да, спасибо, – поблагодарил Руководитель. Что делала Романова – ела, пила, – все это его не интересовало. Она интересовала его только в паре с Минаевым, а не сама по себе. – Спокойной ночи, – попрощался Руководитель.

Романова положила трубку. Четыре часа утра. А Руководитель еще не знает. Значит, и посольство не знает, иначе бы сообщили. Значит, не перехватили. УШЕЛ.

– Кто это звонил? – спросила Надя Костина.

– Минаева ищут. Он не вернулся в гостиницу.

– В бардак пошел, – с уверенностью сказала Нина. – В публичный дом. У него есть деньги в отличие от нас всех.

– А откуда?

– У него в Италии пьеса идет. И во Франции.

– Какая пьеса? – оторопела Романова.

– Какая-то... Авангард...

– Он что, выдающийся?

– Ну не знаю насчет выдающийся... Но любопытный парень. С перевернутыми мозгами. И не только...

– Что ты имеешь в виду?

– Из-за него Нинка Шацкая вены резала.

– Вострякова, – поправила Романова.

– Да нет. Вострякова беременная. Нинка – другая история. У него этих баб как вшей на покойнике.

– А кого он любил? – спросила Романова.

– Никого. Себя. Для него люди – мусор. И вообще все мужики – предатели и проституты, – подытожила Надя.

– А у тебя были мужчины? – осторожно спросила Романова.

– Был, – сухо ответила Надя в единственном числе.

Романова догадалась, что Надин бешеный рывок к счастью тоже окончился оплеухой и она не захотела повторять и множить плохой опыт. В отличие от всех остальных женщин.

Часы показывали пять утра. Романова боялась бодрствовать, болела пустота, которую оставил после себя Раскольников. И боялась заснуть, увидеть зеленую прорубь...

Утром все стало определенным.

В шесть часов по римскому времени руководителя делегации вызвали по телефону в

советское посольство и некто, в чине генерала, так на него орал, что охрип. Сорвал голос.

Генерал в живописи не разбирался. Ему было плевать, кто такой Руководитель: народный, заслуженный, гордость маленькой нации... Для генерала было главным то, что не УГЛЯДЕЛ. Его послали, заплатили, да-да, заплатили валютой не для того, чтобы покупал себе флорентийское стекло...

Руководитель оробел. На него по крайней мере лет тридцать никто не орал, а только славословили и давали ордена.

Он вернулся в гостиницу бледный и все утро глотал таблетки валидола. О сне не могло быть и речи. «Сволочь какая», – думал Руководитель, непонятно о ком: о генерале или о Минаеве. А скорее всего о том и другом.

В девять часов автобус отходил в Геную.

Руководитель вошел в автобус и объявил о случившемся. Торжественно, как на панихиде. Романова не слышала, как именно он сформулировал. Она вошла при общем молчании. Только старушка громко сказала:

– Сволочь какая...

Но это относилось не к ней, а к Минаеву. Романова села на привычное место, в третьем ряду от конца. Стала смотреть на улицу.

– В его чемодане остались две бутылки водки, – сообщил Богданов.

– Давайте их сюда, – расторопно велел Руководитель. – Отдадим шоферу автобуса. Как сувенир.

Руководитель уже освоился в новой обстановке. «Отряд не заметил потери бойца и «Яблочко»-песню допел до конца». Туристическое путешествие продолжалось.

Автобус тронулся. Говорили мало. Каждый думал свою думу.

Романова – о том, что у Раскольникова открылась язва, что ему надо есть все отварное и несоленое. Но кто ему отварит и подаст? Кому он нужен? Язва может дать прободение желудка, он упадет. Итальянцы будут его обходить, подумают, что наркоман...

Она вспомнила лица итальянцев, глазающих на гуттаперчевого йога. Он свивался в узел, достигал совершенства гибкости тканей и суставов. А мог бы сломаться и упасть, и у людей не изменились бы лица. Это было одно глазающее рыло итальянского мещанства. А мещанство – везде одинаково.

Надя Костина думала: если бы не парализованная мать, ее бы только видели... Здесь сексуальные меньшинства имеют свои клубы и кафе. Можно полноценно собираться и не выглядеть белой вороной.

Лаша то поднимал, то опускал брови. Он недоумевал: какие есть бессовестные люди. Бросить родственников, отца, мать, детей – и не просто бросить, а кинуть на ржавый гвоздь. Кто примет таких детей в институт? Кто возьмет таких жен на работу? Пусть даже у Минаева будет дом из белого мрамора, и такая лампа, и даже такая женщина, как на фоторекламе. Но он, Лаша, подавился бы этим всем, если бы знал, что его мать и дети в это время плачут и давятся от слез...

Михайлов припомнил, что Минаеву 33 года. А ему, Михайлову, 48. Плюс пятнадцать. Но именно плюс пятнадцать решают все дело. Поздно. Его поезд ушел. Надо дожить, как жил. Долгобить то, что дано.

Двоеженец Лева завидовал. Не тому, что Минаев сбежал. А тому, что способен на поступок. На риск. Кто не рискует, тот не выигрывает. Он, Лева, не способен на поступок. На рывок. И поэтому стоит на месте, и его засасывает, засасывает, и скоро чавкнет над макушкой.

Старушке было плевать на Минаева. Но не плевать на последствия. Группу могут наказать за отсутствие бдительности и лишит следующих поездок. Официально разрешается ездить раз в три года. Значит, теперь могут выпустить только через шесть и даже через девять лет. А девять лет в ее возрасте – это такой срок, когда планов не строят.

– Сволочь какая, – повторила старуха. И опять было непонятно, кого она имеет в виду, ибо слово «сволочь» женского рода, производное от глагола «волочить». Это то, что

сволочено в одно место бороной с пашни: сор, бурьян, сухая трава...

Юкин не думал ни о чем. Он хотел спать и клал голову Стелле на плечо.

А Стелла размышляла: были бы деньги – сбежать с Юкиным и любить его в доме с бассейном. Нарожать красивых детей. К детям – няньку. К обеду – плоды авокадо, гуайява, киви и папайя. И солнце десять месяцев в году.

На лице Стеллы стояла нежная мечтательная улыбка, которая ей очень шла.

Автобус сделал стоянку на автозаправке. Все вышли поразмяться.

– Я знала, что у него есть деньги, – возбужденно говорила «настройщица», – но он все время крутился возле Романовой, я думала, Романова его растрясет...

– Как растрясет? – спросил Богданов.

– Ну, заставит потратиться. Непонятно?

– А зачем? – не понял наивный Богданов.

Он действительно не понимал, что в том кругу, где вращается эта женщина, главным мерилom отношений являются деньги. Как в капиталистической экономике. Нравится – плати.

У Романовой было конкретное воображение: она представила себе Раскольникову, которого приподняла за шиворот и трясет, и из него сыплются монеты и со звоном ударяются о мостовую.

Романова отошла. Ей стало противно, что ее хрупкое, чистое, живое чувство трогают грязными руками. Ей было жаль своего чувства, как новорожденного ребенка, которого бросили. А он уже живой. Уже человек.

Романова погрузилась в тоску. На самое дно. И больше ничего не видела вокруг себя. И запомнила как-то смутно. Автобус шел и останавливался, где-то они слезали и рассматривали развалины старого публичного дома с остатками фресок. Фрески имели скабрзное содержание, но выполнены с юмором. Значит, карикатура существовала еще тогда.

Потом было море. Морское побережье. Все бросились купаться. Летели морские брызги, и смех, как брызги.

Романова лежала на берегу, в плаще, с закрытыми глазами. Воняло мазутом. Она легла возле какого-то гаража. И когда потом поднялась, увидела, что ее плащ запачкан мазутом.

Из волн выходила большая белая Стелла. Возле нее Юкин – в брызгах с большими зелеными глазами. Он подхватывал ее на руки, и уносил снова в море, и сбрасывал там, как тяжесть. Они были молоды, счастливы и не скрывали ни того, ни другого. Ни третьего.

После поступка Раскольника-Минаева уже никто ничего не скрывал. Он как будто снял все условности и запреты. Заразил микробом вседозволенности.

С группой что-то случилось. Все пошло вразнос.

Строгие музейные дамы выбрали себе кавалеров и – как на войне. Одна живем. Завязавшие алкоголики – развязали. Вошли в штопор. Шел пир во время чумы. Группа советских туристов превратилась в табор.

Романова ни в чем не участвовала. Она тосковала. Раскольников ушел, вырвал с мясом кусок души, и на месте отрыва текла кровь. И болело. Однажды отвлеклась от боли и увидела себя на парходике. Группа направлялась на остров Капри. Юкин держал большой венок из еловых веток с натуральными красными гвоздиками, вделанными в хвою.

– Что это? – спросила Романова.

– К памятнику возложить.

– Кому?

– Ленину, кому же еще...

В программу входило возложение венка.

Юкин был пьян и все время норовил лечь на венок. И улегся в конце концов. И заснул. Надя Костина растянулась рядом.

Итальянцы показывали пальцами и говорили одно слово:

– То-ва-ри-щи...

Говорили по слогам, потому что сразу было трудно произнести.

Памятник Ленину виднелся с берега. Его профиль был высечен на белой колонне, и Ленин мало походил на самого себя. Возможно, местному скульптору дали только словесный портрет: профиль, лысина и борода.

Когда сходили с парходика, Богданов подал Романовой руку.

– Не трогай ее за руку, – предупредил двоеженец. – Останешься...

– Почему? – не понял Богданов.

– А ты думаешь, почему Минаев сбежал?

– А почему?

– Влюбился и сбежал.

– Если бы влюбился, не сбежал, – откомментировала Надя Костина. – Или хотя бы предупредил: дескать, «не жди».

– А может, и предупредил, – не выдержала Романова.

Самолюбие победило здравый смысл.

Лаша округлил глаза:

– А что же ты нам не сказала?

– Все на экскурсию ехали. Где я вас возьму?

– Все равно. Надо было предупредить, – заметила старушка аккуратным голосом.

Романова поняла, что сделала нечто крайне опрометчивое. Но слово не воробей... Оно уже вылетело. И взвилось в высоту.

Романова испытала томление под ложечкой, как будто оттолкнулась на санках с горы и заскользила вниз. Куда? А черт его знает. Может быть, там в конце концов прорубь с зеленой водой...

Теперь к чувству боли примешивался СТРАХ. Мысли заметались, как мышь в уборной. Какой выход?

Романова сообразила, что Руководителю доложат. Возможно, уже доложили. И будет лучше, если он все узнает ОТ НЕЕ.

Группа шла по тропинкам острова Капри.

Экскурсовод показывал дом, где жил Горький. Здесь жил Горький, и его друзья, и семья, и очаровательная невестка Тимоша, в которую все были влюблены. Зачем Горький послушал Сталина и вернулся?

Романова подошла к Руководителю и тронула его за рукав:

– Мне надо с вами поговорить.

И рассказала от начала до конца, включая отвисшую челюсть, подругу Машу, Провидение Господне, розданные метлы, двух музыкантов и двух наркоманов.

Романова говорила, говорила и чувствовала, как исторгающиеся слова облегчают не только душу, но и плоть. Было тяжело, как будто заглотнула камень. А теперь этот камень дробился и высыпался песком.

Романова закончила. Руководитель молчал. Потом спросил:

– Вы кому-нибудь это говорили?

– Да.

– Кому?

– Всем.

– Так...

Тропинка вилась в гору. Идти было тяжело.

– Я виновата в том, что не предупредила? – прямо спросила Романова.

– Почему? Предупреждать – это вовсе не ваша функция. Вы турист. Ваша задача – видеть и познавать. А не предупреждать.

– Вот именно, – обрадовалась Романова.

Руководитель остановился. Смотрел по сторонам. Они стояли на высоком холме. Внизу море выпирало боком, и было заметно, что Земля в этом месте закругляется.

– В тридцать седьмом меня посадили, – сказал Руководитель. – Я сидел в камере с

одним паханом. Он меня учил: то, что ты не скажешь, прокурор никогда не узнает. Все, что он может узнать, – только от тебя.

Руководитель давал совет: молчи.

– Меня посадят? – тихо спросила Романова.

– Посадить не посадят, но кислород могут перекрыть.

Перекрыть кислород – значит не давать работу. Не печатать. Забыть. Была такая художница и больше нет.

Именно об этом предупреждал Раскольников, уходя:

– Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности.

– А я хочу!

– Будут.

Теперь можно сказать: есть.

Рим. Последний день. – Ну? – спросила Маша.

– Сбежал...

– Так... Ты кому-нибудь сказала?

– Сказала, – упавшим голосом ответила Романова.

– А про меня?

– И про тебя.

Наступила тишина. Романова подумала, что телефон отключился, и подула в трубку.

– Не дуй. Я здесь, – отозвалась Маша. – Ты что, не понимаешь, что меня теперь не выпустят в Москву к матери?

Романова тяжело замолчала.

Если разобраться: человек захотел жить и работать в чужой стране. Почему Гоголь мог прожить в Италии восемь лет? И Ленин, в конце концов, сочинил революцию в Швейцарии. Почему им можно? А Раскольникову нельзя? Почему он должен удирать, будто прыгать с пятого этажа? И почему теперь все должны это расхлебывать?

– А ты-то при чем? – спросила Романова.

– А при том, что я должна была заявить. А я не заявила.

– Почему мы все должны быть доносчиками? Разве у них нет для этого специальных людей? Почему мы все поголовно должны стучать друг на друга?

– Ты где живешь? – спросила Маша.

Этот же вопрос задавал Раскольников. Как на него ответить? Почему надо было выехать в Италию, чтобы УВИДЕТЬ, где она живет? Почему всем ясно, а ей нет?

Сорок тысяч «почему». Вот и стой, перемазанная дегтем.

– Я себя ненавижу, – сказала Романова.

– Я тебя тоже, – не пощадила Маша.

Положила трубку. Разговор был окончен.

Романова легла на кровать и заплакала. Путешествие по Италии закончилось. Восемь дней. Пять городов.

В аэропорту Шереметьево все высматривали своих. Стеллу встречал Большой Плохой художник. Юкин смотрел в сторону, как незнакомый человек.

За Руководителем прислали машину.

– Если хотите, я вас подвезу, – предложил он Романовой.

– Нет. Спасибо. Я на такси.

Романовой хотелось остаться одной. Ей хотелось поскорее очистить от себя Италию, как мазут с плаща.

Встречала Нина. Издалека было заметно, что она кое-как питалась эти десять дней.

– Худеешь? – догадалась Романова.

– Ага. На полтора килограмма.

Нина все время боролась с весом, хотя никакого веса не было. Одни ноги и руки.

Музейных дам разобрали их добропорядочные семьи.

А Богданова задержали. Рядом с «настройщицей» стоял человек в сером и задавал

вопросы. Видимо, он приехал встретить рейс. Богданов жил в одной комнате с Минаевым и, с их точки зрения, нес основную ответственность. Он мог знать больше, чем остальные. И это надо было проверить.

Когда Романова и Нина прошли мимо, волоча чемодан, тетка что-то летуче сказала Серому. Он кинул на Романову полвзгляда, четверть взгляда и отвел глаза. Но Романова почти физически ощутила на своем лице мажущий след.

– Меня в тюрьму посадят, – сказала она Нине.

Нина легко захохотала, сверкнув зубами. Ей это было смешно.

Руководитель ласково посмотрел на Нину и сказал:

– У вас такая дочь, а вы боитесь...

При чем тут дочь... Какая связь. Когда и кого из ТЕХ людей останавливали хорошие дочери...

Страсть и Страх – сильные чувства. Как кипяток. Человек не может жить в кипятке. Человек должен существовать с температурой тридцать шесть и шесть. Это совместимо с жизнью. Так что жизнь диктует свои условия. И права. И обязанности. В обязанности входило вывозить Нину на дачу. В среду из командировки вернулся муж. Он был физик-атомщик, и чем занимаются на объекте физики-атомщики, рассказывать не принято. В субботу переезжали на дачу. Сносили вещи в машину. В этот неподходящий момент зазвонил телефон.

– Тебя, – сказал муж.

– Кто? – спросила Романова.

– Мужик какой-то...

– Что хочет?

– Спроси сама.

– Да! – Романова держала трубку возле щеки... Обе руки были заняты.

– Здравствуйте, – интеллигентно отозвался голос. – С вами говорит секретарь партийной организации Илья Петрович Муромец.

– Здравствуйте, – ответила Романова.

– С вами в поездку ездил некий Минаев...

– Да. И что?

Романова следила глазами, как Нина тащит мольберт. Она держала его вниз головой, если можно так сказать, и «голова» сейчас отлетит, скатится со штатива.

– Нина! – душераздирающе крикнула Романова. – Как ты держишь!

– Извините, – сказали в трубку. – Я, наверное, не вовремя звоню.

– А что вы хотели? – нетерпеливо спросила Романова.

– Ну ладно. Я как-нибудь позже позвоню.

– До свидания, – попрощалась Романова. Освободила руку и этой освободившейся рукой положила трубку на рычаг. – Ничего тебе нельзя поручить, – с раздражением сказала дочери.

– А что я такого сделала? – растерялась Нина.

И в самом деле.

Прежняя декорация – Венеция, Флоренция, Рим – сменилась на деревню Жуковка и кобеля Чуню, которого почему-то звали по фамилии хозяина: Чуня Володарский.

Жизнь – театр. Когда меняются декорации, то меняется и драматургия. Пошел другой сюжет: завтраки, обеды, ужины, мытье посуды, а в перерывах – работа.

На сердце осталась глубокая борозда. Эту борозду она вычертит на холсте. Все в костер. А что делать? Она – влюбилась. Сошла с ума. Это не понадобилось. Как в себе это все рассовать? По каким полкам? На одну полку – страсть. На другую – страх. На третью – обиду.

Заставить всю душу полками. А не лучше все вытряхнуть на холст: и страсть, и тоску, и его легкое дыхание...

Романова нашла свою точку на краю деревни: изгиб реки, ива наклонилась низко,

почти упала, но не упала – отражается в воде вместе со стволом. Стволы – настоящий и отраженный – как две ноги. Брошенная женщина с обнаженными ногами.

Романова искала слом света, воздуха и воды. Главное – освещение. Одна нога – на земле. На корнях. Другая – зыбкая. Ее нет. Человек и его грезы. Деревня Жуковка и Венеция. Муж и Раскольников. Романова и Романова.

Жизнь – свалка. И только искусство примиряет человека с жизнью.

Наступила осень.

Нина пошла в десятый класс. Надо было нанимать ей преподавателей.

Муж уезжал на объект. Взрывал атомную бомбу и возвращался домой с большой премией. Крепил мощь своей страны и мощь семьи. Вполне мужское занятие.

Шурка предложил сделать новую книгу про рыцарей. Романова рисовала рыцарей, как муравьев: узкое, как палочка, тельце, точечка – головка. И большое копье.

– Это не рыцари, – сказал Шурка. – Это пираты.

– Какая разница? – возразила Романова. – Одно и то же.

– У них разные цели: пираты отнимают, а рыцари защищают.

– Цели разные, а действия одни. Машут копьями и протыкают насквозь.

– Да? – Шурка задумался, подперев голову кулаком.

И в это время раздался телефонный звонок.

– С вами говорит майор Попович, – представился голос.

– Космонавт? – удивилась Романова.

– Комитет государственной безопасности.

Тот Муромец. Этот Попович. Сплошные былинные герои.

– Вы можете зайти? – спросил майор.

– Когда?

– Чем скорее, тем лучше. Давайте сегодня. В четыре.

«После обеда, – подумала Романова. – Поест и посадит».

– Я вас жду.

– С вещами?

– Что за шутки... – строго одернул майор. – Вам будет заказан пропуск.

Он положил трубку.

– Я боюсь. – Романова с ужасом смотрела на Шурку. – Я думала, все кончилось. А все только начинается.

– Хочешь, я пойду с тобой? – самоотверженно предложил Шурка.

– Хочу.

Дом – в центре города. Голубой особняк. Интересно, кто здесь жил раньше? Майор Попович стоял на крыльце особняка и ждал, напряженно глядя перед собой. Был он белесый, бледный, как шампиньон, нос сапожком. Довольно молодой для майора. Быстро продвинулся.

Романова приближалась подскакивающей походкой, держась за Шуркин локоть.

Шурка не брился два дня, вылезшая щетина казалась синей. Вязаная шапка до бровей. Шурка выглядел зловеще, как бандит с большой дороги.

– Это вы? – догадалась Романова. – А это я.

Попович с недоумением посмотрел на Шурку, как бы спрашивая: «А этот откуда?»

– Знаете, я ревную. Никуда одну не отпускаю, – объяснил Шурка.

Майор сделал каменное лицо и сказал:

– В кабинет я вас не пушу. Подождите здесь.

– Долго?

– Полчаса, – сухо сказал майор.

– Ну хорошо, – согласился Шурка, доверяя Романову на полчаса. – Но не больше.

Попович вошел в особняк. Зашагал по коридору. Романова семенила следом.

– Не могла одна прийти? – семейным голосом прошипел Попович.

– Мы вместе книгу делаем. Детскую. Он пишет стихи, а я рисунки.

Романова как бы намекала, что она человек мирный, неопасный для страны и надо поскорее отпустить ее на благо детской литературы.

Вошли в маленький кабинет. Стол. Сейф. Пыль. Для художника – ничего интересного.

– Ну? – спросил майор.

– Что?

– Рассказывайте.

– О чем?

– О вашей поездке в Италию.

– А что рассказывать? Группа поехала. Все вернулись, а один сбежал. Минаев, кажется...

– А раньше вы его знали?

– Нет. Мы познакомились перед самым отъездом. В аэропорту.

– А вот у меня тут сигнал, что вы помогли Минаеву сбежать на Запад.

– ЧЕГО? – переспросила Романова.

– Вы с Минаевым заранее все подготовили. Обо всем договорились. А в Риме вы помогли ему выполнить операцию.

«Операция», «заговор». Посадят. Посадят обязательно. В этот голубой дом просто так не вызывают. Хорошо бы в тюрьму, а не в психушку. В психушке гормональные уколы. Сделают идиоткой. А в тюрьме все-таки природа. Тайга. Разное освещение. Можно будет порисовать.

– Кто вам дал такой сигнал? – спросила Романова.

– Из вашей группы. Свои.

– Кто?

– Я не могу это сказать. Не имею права.

Романова стала мысленно перебирать состав группы.

Руководитель? Невозможно. Он порядочный человек. Хоть и обласкан.

Лаша? Лаша дурак, но не подлец.

Михайлов? Нет. Он признан. Ему незачем выслуживаться.

Костина? Она пила.

Юкин? Он любил.

Старушка? А ей-то зачем?

«Настройщица»? Но она не из группы. Не своя.

– Кто вам это сказал? – снова спросила Романова.

– Здесь спрашиваю я, а не вы, – строго напомнил Попович и устремил на Романову профессионально-испытующий взор. Романова успела заметить, что глаза у него добрые, как у Чуни Володарского, и лает он не зло и нехотя, а только чтобы слышали хозяева.

– Я его не знала в Москве. Мы познакомились с ним в Италии.

– А вы сказали – в аэропорту...

– Мы познакомились в первый день поездки, а на четвертый он сбежал.

– А зачем он вас предупредил?

– Он не предупреждал. Он что, дурак?

– Но вы рассказали, что он вас предупреждал.

– Я сказала. Но я наврала.

– Зачем?

– Мне было неудобно. Он ухаживал за мной. Все время держал за руку...

– Ну и что?

– Держал за руку. Обнимал за плечи. А потом бросил у всех на виду. И даже не сказал «до свидания»...

– Значит, вам было важно, чтобы он сказал «до свидания»?

– Конечно.

– А то, что он предал Родину?

– А это уже ваши дела. Я вернулась, а за других я не отвечаю. У меня другая специальность.

Помолчали. Пролетел тихий ангел.

– У нас тут один в Швеции сбежал, – вдруг доверительно сказал Попович. – Может, действительно молодым трудно? Может, МЫ что-то не учитываем?

– Мне не трудно, – сказала Романова. – А за остальных я не отвечаю.

Поповича устраивал такой ответ. Получалось, что МЫ не виноваты. Виноваты другие.

– Пишите, – сказал он и подвинул бумагу.

– Что?

– Напишите, что вы его раньше не знали. Больше ничего не надо.

– Одну строчку?

– Можно две.

Романова поняла: их интересовало – был заговор или нет? Заговора не было. Романова не заговорщица, а просто вертихвостка. Версия отработана. Галочка поставлена. Он, майор Попович, завтра положит отчет перед начальством. И пойдет в отпуск.

– Написала. – Романова отодвинула листок.

– Можете идти. Давайте я вам отмечу пропуск.

Он посмотрел на часы и записал время.

Романова взяла бумажку. Пошла к дверям. Перед тем как выйти, обернулась.

Попович рылся в папке. Он уже забыл о Романовой, как Арсений в Италии.

– Простите...

– Да? – Попович поднял голову.

– А вы что-нибудь знаете о Минаеве... Какие-нибудь сведения...

– Только непроверенная информация. – Попович не хотел отвечать.

Романова не уходила.

– Нашли тело без признаков насильственной смерти, – бесцветно сказал Попович.

– А что это значит?

– Умер. Или покончил с собой.

Романова стояла с открытым ртом. Поповичу показалось, что она что-то сказала.

– Что? – не понял Попович.

– Ничего.

Шурка ходил возле голубого дома. Туда и обратно. – Я в туалет хочу, – сказал он, увидев Романову. – Сюда нельзя зайти?

Романова не ответила.

– Лучше не надо, – посоветовал себе Шурка. – А то войдешь, и не выпустят.

Они пошли по улице. Романова не видела, куда идет. Она передвигалась, как лунатик, когда человека ведет не разум, а Луна.

Что произошло? Он не дошел до посольства? Испугался, что американцы выдадут его своим? И не решился вернуться обратно. Не доверял Романовой. Он ходил, ходил, без еды и без сна, под невыносимым грузом разлуки. И не выдержал. Покончил с собой. Или просто умер. Ему много не надо. Лег под мостом и не встал...

Зашли в кафе. Шурка предложил остаться и выпить.

Сели за столик возле окошка.

– Что он тебе сказал? – спросил Шурка.

– А? – Романова очнулась.

– Что тебе сказал этот майор?

– По-моему, они халтурят. Ленятся. Бериевские псы ни за что бы не выпустили. А этот поверил на слово.

– У меня есть школьный друг. Разведчик. На Кубе работал руководителем группы. Жили, как в раю: теплое море, деньги, фрукты – круглый год. Он в один прекрасный день все бросил и вернулся.

– Почему?

– Никто ничего не делает. Вместо того, чтобы сведения собирать, отправляются на рыбалку. Как Хемингуэй.

Официант принес водку, селедку и отварную картошку, посыпанную зеленым лучком. Картошка была красивая, крупная, желтомятая.

– Масло, – напомнил Шурка.

Официант отошел.

– Если эти системы халтурят, то думаю – дело плохо, – заключил Шурка. – Скоро все развалится. Рухнет.

– А когда?

– Не знаю. Мне все равно.

– Почему?

– Так... – неопределенно сказал Шурка и разлил по рюмкам.

– За майора Поповича, – предложила Романова.

Она приподняла рюмку, посмотрела зачем-то на просвет. Вспомнила майора Поповича, простого крестьянского парня. Если бы он проявил рвение, раскрутил дело, то в лучшем случае перекрыл кислород, не дал работать. Мужа – вон с секретной службы. А в худшем случае – мог бы посадить. Разве мало диссидентов спрятано по тюрьмам? Тот, кто писал донос, знал, что делает.

– Меня чужой выручил, а свои заложили, – сказала Романова.

Шурка выпил. Потом стал есть.

Романова подумала и тоже выпила. Водка была холодная, пронзительная, как глоток свежего воздуха.

– Когда свои жрут своих, значит, скоро все развалится, – повторил Шурка.

– Когда? – снова спросила Романова.

– В один прекрасный день. Все рухнет, и встанет высокий столб пыли. А я посмотрю с другого берега.

– Ты решил уехать?

Шурка опять налил и опять выпил.

– В Израиль?

– Вряд ли. Еврейство сильно не Израилем, а диаспорой во всем мире.

– А тебе не жаль нашу страну? – серьезно спросила Романова.

– Почему вашу? Она и моя. Я – русский человек. Я бы никогда не вспомнил, что я еврей, если бы мне не напоминали.

Шурка снова разлил водку. Романова выпила жадно, будто жаждала. Потом налила в стакан и выпила полстакана. Предметы вокруг стали еще отчетливее, как в стереоскопическом кино.

– Когда Иуда повесился? – спросила Романова. – Через сколько времени после распятия?

– Не знаю. А зачем тебе?

– Не уезжай, Шурка. Пропадешь.

– Знаешь, как меня зовут?

– Шурка.

– А моего папу?

– Семен Михайлович.

– Сруль Моисеевич, – поправил Шурка. – А я Александр Срулевич. Сейчас мне сорок. Я Шурка. А через пять лет без отчества будет неприлично. А с этим отчеством я тут не проживу.

– Поменяй.

– Не хочу.

– Не все ли равно – как зовут...

– Не все равно. Почему человек должен стыдиться своего имени, которое он получил от родителей?

А вдруг МАША? – метнулось в мозгу. Нет, нет и нет... Надо срочно отогнать эту мысль, залить ее водкой. Иначе нельзя жить. Дальше остаются муж и Нина. А потом – она сама. Тогда надо подозревать себя. И ехать в сумасшедший дом. Прямо из кафе.

В кафе вошел слепой в черных очках. Романова усомнилась: натуральный слепец или притворяется?

Дальше она ничего не помнила, кроме того, что куда-то ехала и оказалась в квартире Шуркиного товарища.

Романова догадалась, что это экс-шпион, тот, что уехал с Кубы, а на самом деле получил повышение и сейчас ему поручено следить за Романовой. Ему дано задание ее убить. Романова общалась с хозяином дома и его женой, строила свой диалог так тонко и двусмысленно, что они поняли: ее не надо убивать. Это нецелесообразно.

Потом она почему-то лезла через балкон на улицу, а ее затаскивали обратно и порвали юбку. А в конце всего – трещина на обоях. Это ее обои и ее трещина. Значит, ее дом. Ее доставили и сложили на кровать, как дрова.

...Открылась дверь. В комнату вошел Раскольников. Без сумки. Сумку он оставил на Земле.

Романова не удивилась.

– Как все случилось? – с волнением спросила она и протянула к нему обе руки. – Как?

Раскольников хотел ответить, но зарыдал.

Он плакал по себе, по своим детям, честолюбивым замыслам, по страстной плотской любви, которая бывает только на Земле. Он плакал от досады, что все так быстро, жестоко и бездарно окончилось для него. И ничего нельзя поправить. Ибо поправить можно все, кроме одного: сделать из мертвого человека – живого.

Она сидела на кровати, не двигаясь с места. Все понимала. Любила бесконечно. Это была любовь-ворона. Дольше жизни. Дольше человека.

– Хочешь, я к тебе переберусь? – самоотверженно предложила Романова. – Мне здесь все равно нечего делать...

– Не надо... Я подожду...

– Но это долго.

– Недолго... Космические сутки делятся семнадцать земных веков. Один час – семьдесят один год. Так что встретимся через час. Даже немножко раньше.

Он повернулся и пошел в черную дыру открытой двери. Как тогда, в гостинице. И как тогда, ей захотелось крикнуть: «Подожди!»

Прошел год. Шурка Соловей уехал в Израиль и прислал одно письмо с одной фразой: «Еврейство сильно не Израилем, а диаспорой во всем мире».

В Израиле перестают быть гонимым народом, расслабляются, и пропадает эффект натяжения, дающий Эйнштейнов и Чаплиных.

В Нину влюбился плохой мальчик Саша из ее класса. Плохого в нем было то, что очень красивый. Романова тут же перевела Нину в другую школу, за три остановки от дома. На новом месте в нее влюбился мальчик Паша, провожал до самого подъезда. Паша тоже никуда не годился, но Романова махнула рукой. Поняла, что бороться бессмысленно. На смену Паше придет какой-нибудь Кеша. Настал возраст любви.

На Рождество в Москву приехала Маша с обширным багажом и в широкополой шляпе, какие носили в период немого кино. Ее встречали многочисленные друзья с семьями. Набралось человек сорок. Не меньше. Маша любила пышно обставлять свой приезд. Это был ее маленький театр.

Носильщики вытаскивали из купе чемоданы и сумки. Багаж – в стиле ретро. Дополнение к образу.

– Ты помнишь Куваева? – спросила Маша, считая багаж. – Которого мы уговаривали на площади...

– Минаева, – поправила Романова.

– Правильно, Минаева. Знаешь, на ком он женился? – Маша выждала эффектную

паузу. – На дочери эфиопского короля. На принцессе. У них дворец из белого мрамора.

– В Эфиопии?

– В Париже. На площади Трокадеро. Самый престижный район.

– А как они там оказались?

– В Эфиопии произошел переворот, и папаша-король сбежал во Францию вместе с семьей и деньгами. А у Минаева в Париже шла пьеса. Они в театре и познакомились. Представляешь? А я ему метлу обещала, дворы подметать...

– Не обещала, – уточнила Романова. – Ты сказала, что все метлы розданы.

– Представляю себе, как он сейчас смеется над нами. Хихикает в кулак...

– Он умер, – мрачно сказала Романова. – Покончил с собой.

– Ерунда. Это КГБ распускал слухи, чтобы другим неповадно было сбежать.

Маша отошла к носильщику, чтобы рассчитаться.

Подул ветер и снес шляпу с Машиной головы. Шляпа пролетела по воздуху, потом покатила по земле, как колесо. Еще несколько метров, и ее занесет под тяжелый, грязный состав.

Все всполошились и, как заполошнные куры, бросились догонять шляпу. И Маша тоже побежала.

А Романова осталась стоять. Смотрела и думала: кто же надевает такую шляпу в такой климат...

...Успеют, не успеют... Схватят, не схватят... Все бегут за счастьем, как за шляпкой, с вытянутой рукой, вытаращенными глазами, достигают верхнего ля-бемоль, умирают под мостом, женятся на принцессах, плачут до рвоты, надеются до галлюцинаций – и все за полтора часа. Даже если жизнь выпадает длинная, в сто лет – это всего полтора часа. Даже меньше. Как сеанс в кино.

«Система собак»

Помнишь, как мы встретились в первый раз? В кафе Дома кино. Меня туда привел сценарист Валька Шварц. После своего фильма Валька стал знаменит в своих кругах. В широких кругах его никто не знал, сценаристы вообще славы не имеют. Вся слава достается актерам, а сценаристам только деньги. Однако в своих кругах он был модным. Валька мне не нравился. У него лицо, как у сатаны, с пронзительными глазами и доминирующим носом. Все лицо уходит в нос. К тому же мне было двадцать шесть, а ему сорок. Но все-таки я с ним пошла в надежде, что меня кто-нибудь приметит и возьмет сниматься в кино. Или просто влюбится, и я найду свое счастье. А еще лучше то и другое: и влюбиться, и в кино. Все в одном. Не сидеть же дома рядом с мамой и сестрой! На дом никто не придет и ничего не предложит. Надо самой для себя постараться. Как гласит народная мудрость: «Под лежащий камень вода не течет».

На мне было синее платье, и я сидела напротив Вальки, а Ты рядом со мной. Ты был такой пьяный, просто стеклянный от водки. Ничего не соображал. Но когда засмеялся – не помню, по какому поводу, – то засмеялся тихо, интеллигентно. Даже в беспмятстве оставался аристократом. Потом подвинул под столом свою ногу к моей. На всякий случай. Проверить: как я к этому отнесусь? Вдруг положительно, тогда можно будет без особых хлопот трахнуть девушку. Выпить водки, трахнуть девушку – выполнить полную программу загула. А потом поехать домой и лечь спать.

Ты притиснул свою ногу к моей. Я очень удивилась и отодвинула свою ногу. И посмотрела на тебя. В твоём лице ничего не изменилось. Можно так, а можно этак...

Валька вдруг вытянул руку и поднес к моему рту. Я не поняла, что это значит и что надо делать.

– Укуси, – сказал Валька.

– Зачем? – удивилась я. Потом поняла: он проверял меня на готовность к разврату.

Почему бы и нет? Но не с ним. И не с холодной головой. Вот если бы я что-то

почувствовала, если бы моя кровь вдруг загорелась от желания... Однако я ничего не чувствовала ни к кому. Ты был стеклянный и лысоватый. Валька – просто рвотный порошок. Правда, знаменитый порошок.

Была за столом еще одна возрастная тетка лет сорока пяти. Она рассказывала про свою маленькую внучку и называла ее «заспанка». Значит, много спит. Юмор заключался в том, что «заспанка» по звучанию похоже на «засранка». Я не понимала: как можно шутить так плоско в присутствии по-настоящему талантливых людей? И зачем вообще в этом возрасте ходить в кафе. Потом выяснилось, что в Доме кино проходила конференция критиков, а тетка – прогрессивный критик. Они ее уважали, а меня нет. Зато они меня хотели, а ее нет. Неизвестно, что лучше.

Все кончилось тем, что ты поднялся к директору Дома кино и сказал:

– Я пьяный. Вызовите такси.

А я осталась с Валькой. Потом я его ждала во дворе. Сидела на скамейке. Он в это время выступал перед критиками. Был просмотр его фильма. Потом он вынес мне во двор чашку коньяка и заставил выпить. Он хотел, чтобы я опьянела. Я выпила и стала пьяная. Все вокруг медленно кружилось: небо и скамейка.

Валька вознамерился меня трахнуть, но у него не стояло. Мне было все равно. Меня тошнило – морально и физически. Я поняла, что в поисках своей судьбы выбрала какой-то неверный путь. Таким образом я ничего не добьюсь, кроме аборта или венерической болезни. Хорошо, что у Вальки не стояло. Но ведь есть и другие случаи.

Моя сестра кормила ребенка грудью, сидела, как мадонна с младенцем. И такая была в этом чистота и высокая идея...

Меня пригласили в студию в комнату № 127. Я вошла в комнату № 127 и увидела тебя. Ты был трезвый, с оливковым цветом лица, какое бывает у индусов. Еще не негр, но уже не белый. Переходное состояние. И глаза, как у индуса, – большие, керамически-коричневые. На столе лежали мои фотографии, взятые из картотеки актерского отдела. Рядом с тобой стоял второй режиссер Димка Барышев. Он как засаленная колода карт: сплошные варианты, и все грязные.

Ты протянул мне сценарий в плотной бумажной обложке и сказал:

– Прочитайте.

Я взяла сценарий и прочла название: «Золушка».

Я видела, что ты меня рассматриваешь: какое у меня лицо, глаза, волосы. Общий облик. Было непонятно, вспомнил ты меня или нет. Скорее всего нет. Димка Барышев тоже меня рассматривал, но по-другому: какое на мне платье, грудь, ноги – и все остальное, что между ногами. Я стояла и мялась, как будто хотела писать.

Я не могла понять: почему они меня пригласили? Может быть, Валька Шварц сказал, что есть такая студентка на четвергом курсе ВГИКа. А может, просто листали картотеку...

Я ОЧЕНЬ хотела сниматься. Но к своим двадцати шести годам я уже заметила, что нельзя хотеть ОЧЕНЬ. Судьба не любит. Надо не особенно хотеть, так, чуть-чуть... И тогда все получится.

Я взяла сценарий и пошла к двери. Димка Барышев провожал меня глазами, и мне казалось, что на моем платье остаются сальные пятна. Мне захотелось обернуться и плюнуть ему в лицо. Я обернулась, но не плюнула, а просто посмотрела. Он все понял.

Когда я вышла, Димка сказал:

– Без жопы, как змея. Что это за баба без жопы?

А ты ответил:

– Сделайте фотопробу. – И еще добавил (мне потом Леночка Рыбакова рассказала): – В ней есть чистота.

Дома я прочитала сценарий. Современная интерпретация «Золушки». Автор Валентин Шварц. Удивительная вещь: Валька с его плавающей нравственностью – это одно, а его талант – совсем другое. Как небо и земля. Там голубое. Здесь бурое. Поразительно: как это сочетается в одном человеке? История современной Золушки. Она живет в пригороде

Москвы с мачехой по имени Изабелла и двумя сестрами. Отец – подкаблучник у мачехи. Не может заступиться за свою дочь. И Золушка батрачит на всю семью и еще работает в фирме «Заря». Мойет окна до хрустальной чистоты. Казалось бы, черная работа, неквалифицированный труд, но Золушка любит свое дело. Ей нравится процесс перехода из грязного в чистое, в новое качество.

Золушку ценят. И однажды жена «нового русского» по имени Анна приглашает Золушку на презентацию журнала Клуба путешествий. Анна, как добрая фея, дает Золушке на вечер платье, туфли и карету – подержанный «мерседес».

Они приезжают в модный ресторан. Золушка – красавица, самая красивая девушка в зале. В нее влюбляется принц. Настоящий принц из африканской страны Лесото, черный, как слива. Золушка выходит за него замуж и уезжает в Лесото.

Там у нее собственный дворец, прислуга. Но Золушке скучно, и она время от времени перебивает все окна. У нее, как у каждого человека, есть мечта. Мечта Золушки – приехать в Москву, появиться перед мачехой в мехах и бриллиантах, с черным телохранителем, сказать:

– Привет, Изабелла...

И потрепать по щеке.

Мечта сбывается, как во всякой сказке. Золушка прилетает в Москву на личном самолете. Подъезжает на длинной машине «ягуар» к блочной пятиэтажке, где живет мачеха с дочерьми. Поднимается на третий этаж без лифта и открывает дверь своим ключом.

А Изабелла болеет. Лежит после инсульта. Возле нее стакан воды, таблетки. Вся семья на работе. В комнате запах несчастья.

– Привет, Изабелла, – говорит Золушка и улыбается, чтобы скрыть слезы.

– А... это ты... – узнает мачеха. – Хорошо, что ты пришла. Может, помоешь окна, а то света не вижу...

И Золушка снимает с руки бриллиантовые кольца, берет ведро, тряпку и начинает мыть окна. Она готова была торжествовать над прежней мачехой, наглой и сильной. А эту, распятую на кровати, ПОЖАЛЕЛА. Через жалость простила, а через прощение очистилась сама. И свет вошел в ее душу, как в чистое окно.

Окна – глаза дома. Глаза видят небо, солнце, деревья. Голубое, желтое и зеленое. Краски жизни.

Поразительная личность – этот Валька Шварц. Пошляк, бабник, пьянь и рвань. А все понимает. Вернее, чувствует.

Я прочитала сценарий и долго сидела, глядя перед собой. Я хотела сыграть эту роль, но знала, что мне не дадут. И решила отказаться сама. Сама сказать: нет.

Я позвонила домой Вальке и сообщила с ленцой: вряд ли у меня получится по времени, меня пригласили на другой фильм.

– На какой? – торопливо спросил Валька.

– Пока не скажу, боюсь сглазить, – таинственно скрыла я, как будто меня пригласил сам Миклош Форман или Вуди Аллен.

Сама того не подозревая, я сделала точный тактический ход. Можно сказать, кардинальский ход. Валька тут же позвонил ТЕБЕ. Ты занервничал, и тебе показалось, что нужна я, я и еще раз я. Так бывает необходимо то, что отбирают. Хочется ухватить, задержать. На самом деле ты вовсе не был уверен в моей кандидатуре, просто не было ничего лучшего. Мои достоинства состояли в том, что в свои двадцать шесть я выглядела на шестнадцать. И в том, что я никогда прежде не снималась. Неизвестное, новое лицо, как будто я и есть та самая Золушка из пригорода. Мало ли у нас по стране таких Золушек? Вот принцев мало. Да и те из Африки.

Первую половину фильма снимали в Подмосковье, в селе Хмелевка. Церковь восемнадцатого века. Озеро. Красота средней полосы.

Но мне не до красоты. Ничего не получается. Я боялась камеры, была зажата, как в зубоврачебном кресле. Ты ходил обугленный, как дерево смерти. Тебя мучили сомнения: в стране смена строя, борьба за власть, война, криминальные разборки – время жесткого

кинематографа. А ты выбрал сказку, учишь всепрощению, увещаешь, как горьковский Лука. По сути, врешь. А почему? Потому, что ты ничего не понимаешь в окружающей жизни. Тебе НЕЧЕГО сказать. Вот и ухватился за вечную Золушку. Опустил ее в сегодняшнюю реальность. А зачем?

Результат: замысел фальшив. Актрисы нет. Я никакая не актриса. Это уже ясно. Главное, чтобы группа ничего не заметила. Главное – делать вид, что все о'кей. И актриса – находка, и замысел – на грани гениальности. И сам – личность, в единственном экземпляре.

Группа напоминала цыганский табор. Казалось, им нравится такая жизнь: ни кола, ни двора, ни прошлого. Одно настоящее. Жили в Доме колхозника. Инфекция любви, как вирус, висела в воздухе. Все перезаразились. Было похоже, группа играет в прятки: ходят с завязанными глазами, натываясь друг на друга. Ищут счастья.

Мне не до любви. Я боюсь попадаться тебе на глаза.

Димка Барышев увидел мою растерянность, попытался утешить. Подошел и притиснулся своим тугим животом. Я испугалась, что он меня засалит, и оттолкнула, довольно неудачно. Он упал на копчик.

– Ты что? – спросил он, сидя на земле.

– А что? – невинно спросила я и подняла с земли кирпич.

– А сказать нельзя? Сразу драться?

– Можно и сказать, – согласилась я. – Подойдешь – убью.

– Идиотка, – констатировал Димка.

– А ты кто? – поинтересовалась я.

Он встал и ушел, очень недовольный. Что-то я в нем задела.

Бедные актрисы. Зависимые люди. Дешевый товар. Димка считает, что можно взять задешево, а еще лучше – даром. И вдруг какая-то Золушка поднимает кирпич. Защищается. Угрожает. Будучи трусом, он начинает меня бояться. Трусость и хамство – братья-близнецы. Два конца одной палки.

Репетировали сцену: отец приводит в дом мачеху по имени Изабелла. Изабелла пьет чай из маминой кружки. Мама умерла, а чашка осталась. И чужая Изабелла пьет из нее чай. Золушка прячется и рыдает. Я никак не могла войти в нужное состояние, стояла с пустыми глазами, деревянная, парализованная стыдом и недоумением.

– Можно под носом за волосинку дернуть, – предложила гримерша Валя. – Слезы сразу потекут.

Ты понимал: слезы потекут, но отчаяния не будет. Золушка должна плакать от обиды, а не от боли.

Подошел Барышев и предложил:

– Давай я буду ее обижать, а ты защищать.

Есть такой прием у следователей: делятся на хорошего и плохого. Один оскорбляет, другой заступает. Разминают душу. Как правило, подсудимый начинает жалеть себя, плачет и раскалывается.

Ты был против милицейской практики в искусстве. Но что-то надо было делать. День уходил. Еще один пустой день.

Димка направился ко мне, заготовив в душе хамство. Я наклонилась и подняла пустую трехлитровую банку. Димка остановился. Вернулся на место.

– Да ну ее! – сказал Димка. Хотел что-то добавить, но я напряженно следила за ним с банкой в руке. Лучше не добавлять.

Ты подошел и заглянул в мои затравленные глаза своими, все понимающими, как у Господа Бога.

– У тебя было в жизни что-то стыдное? Вспомнишь – и стыдно...

Я задумалась.

Валька Шварц? Да нет. Просто противно – и все. Мой первый муж? Однако первые мужья были у всех, даже у Мэрилин Монро. Перед Артуром Миллером было много первых и вторых. Ну и что?

Смерть моего отца... Но я была маленькая, семи лет. Нас взяли с сестрой на кладбище. А тетя Соня пукнула. И мы с сестрой стали давиться от смеха. А потом я увидела, что тетя Соня плачет. Я никогда не видела прежде ее слез, у нее было такое лицо... Мне стало жалко тетю Соню, и я тоже стала плакать от жалости. Тетя Соня была старая дева, ее никогда никто не ласкал. Она жила в доме родственников, шила, варила, боялась съесть лишнего. А потом ее разбил инсульт, и родственники сдали ее в дом инвалидов. И она там лежала рядом с женщиной-маляром, которая упала с крыши и сломала себе позвоночник. Эта женщина-маляр с утра до вечера ругала бригадира. А тетя Соня радовалась моему приходу и при мне говорила о своем женихе. Когда-то у нее был жених. Ей хотелось говорить при мне о любви. Мы смеялись. В комнате остро пахло мочой. А потом она умерла.

Бессмысленная жизнь. Бессмысленная смерть. Но это не так. Тетя Соня любила меня. А я любила ее. Это и был смысл. Но наша любовь ни от чего ее не оградила: ни от инсульта, ни от дома инвалидов.

– Мотор! – крикнул ты.

Я плакала с открытым лицом. Плевать на всех.

Мачеха Изабелла была мерзкая. Но и она оказалась в инсульте и покорно моргала, глядя на жизнь вокруг себя, но уже не в силах вмешиваться в эту жизнь. Вот так поморгает и умрет.

Как коротка жизнь. Как жаль людей. Всех. И плохих, и хороших. И даже этого кабана Димку Барышева.

Я плакала и не могла остановиться. А потом мне показалось, что никого нет вокруг. И я – это уже не я. Моя душа, как при втором рождении, всплыла в другое тело. Вернее, в мое тело всплывает новая душа.

– Стоп! – скомандовал ты.

– Дубля не будет? – спросил Димка.

Ты знал, что такое не дублируется.

Вечером ты сидел на берегу. Трое местных мужиков принесли тебе самогон, и вы пили все вместе. Ты сидел и разглагольствовал, а мужики слушали, раскрыв рты. Ты говорил о том, что людям нужны сказки, потому что люди – это дети всех возрастов.

Я ушла на озеро, подальше от людей. Вода в озере отражала облака. Посреди, на палке, вертикально торчащей из воды, застыла цапля.

Я смотрела на плывущие в воде облака, на изящный контур цапли. Здесь, в селе Хмелевка, происходила химическая реакция, когда брался замысел Вальки, труд целой группы, твое осмысление, мое лицо – и из всего этого получалась Золушка. Я была задействована в химическую реакцию, как необходимый элемент. Я участвовала в процессе сотворения. Отдавала себя как часть. И получалось новое целое. Получалось, что вся моя жизнь с поиском и предательством не просто так, как дым в трубу. А как поленья в печи. Прогорят, но и согреют.

Жизнь наполнялась смыслом.

Цапля все отражалась в воде, и небо зеленело. И казалось, что эта цапля тоже задействована в химию жизни. Без нее полдень не был бы завершен. Чего-то не хватило бы в этом подлунном, подсолнечном мире.

Приехал Валька Шварц. Требовались изменения в сценарии. Валька должен был переписать диалоги. И он их переписал. Я просто поражалась: откуда к нему идут слова? Как будто на его макушке стоит специальное улавливающее устройство, невидимая антенна. И ловит из космоса. Быстро, легко, мастерски.

Ему очень шла работа. Он был даже не противный. Со своим шармом. И длинный нос – на месте. Короткий был бы хуже.

В столовой Валька подошел и сказал, что хочет со мной поговорить.

– Говори, – разрешила я.

– Не здесь, – ответил Валька.

Видимо, фон деревенской столовой казался ему неподходящим.

– А почему не здесь? Какая разница?

Я не предполагала и даже не догадывалась, что Валька собирается говорить о любви. Какая может быть любовь между мной и Валькой? Выпить – пожалуйста. Можно даже трахнуться при определенных обстоятельствах. Но любить...

Для меня любовь – религия. Я через любимого восхожу к Богу. Значит, мой любимый сам должен быть подобен Богу, как Иисус Христос. При чем тут Валька?

Валька все-таки настоял на свидании. Пришел ко мне в комнату и стал говорить, ЧТО он чувствует и какое это имеет значение в его жизни. В этот момент Валька был почти красивый. Одухотворенный.

Я спокойно слушала, не перебивала. Но в какой-то момент стала думать о Золушке. Завтра должны были снимать эпизод, как Золушка приходит мыть окна к «новым русским».

Валька вдруг замолчал. Потом поднялся и ушел. Он по моему лицу увидел, что я не здесь. И что я его не слушаю.

Я знала, что он попереживает, а потом напишет об этом сценарий и получит много денег. Его жизнь – это безотходное производство. Все на продажу: и радость, и горе. Горе стоит дороже. Почему? Потому что горе глубже чувствуешь и ярче передаешь. Литература – это способ поделиться с людьми.

Валька уехал, но перед отъездом сказал тебе, что я холодная и расчетливая, как змея. Молодая гибкая змея.

Он считал, что я должна быть благодарна за роль. Я и благодарна. Но не до такой же степени...

Тебя устраивало то, что я отшила Вальку. Не потому, что я тебе нравилась. У тебя жена, папа, два сына и еще один сын от первого брака. С тебя хватит детей и браков. Но если я в твоём фильме, значит, в твоём сердце и в печенках и, значит, на этот период должна быть только твоя. А потом, после фильма, ползи, змея, куда хочешь. В пески или в камни, где тебе больше нравится.

У меня действительно длинное тело, высокая шея, маленькая голова и пристальные глаза. Я в самом деле похожа на змею.

Африканскую часть сценария снимали на Кубе. Принц – негр. Логичнее было бы ехать в Африку, но свои услуги предложила киностудия Гаваны.

Жили в отеле «Тритон» на берегу океана. Это тебе не Дом колхозника в Хмелевке.

Питались в ресторане. Обед начинали с фруктов: папайя, авокадо – от одних слов с ума сойдешь. Веселые официанты-мулаты, почему-то все левши, записывали заказ левой рукой.

Куба переживала сложный период, но в отеле «Тритон» рай, коммунизм – называй, как хочешь.

На центральной площади Гаваны работал маленький духовой оркестр. Дирижер поднял руку, дал дыхание, музыканты подняли трубы к губам, но в это время к дирижеру подошел пожилой мулат и задал вопрос. Дирижер ответил. Мулат снова что-то спросил. Дирижер снова ответил. Музыканты ждали с поднятыми трубами, скосив на дирижера глаза. Никто никуда не торопился.

Потом все же оркестр заиграл, и вся площадь задвигалась в ритме, как кордебалет. Было впечатление, что они здесь репетируют. Но никто не репетировал. У них это врожденное. Кубинцы весьма расположены петь и танцевать. И совсем не расположены работать. И в самом деле, как можно работать в такую жару?.. В такую жару хорошо пить пиво и любить друг друга.

Когда вечером гуляли вдоль берега, приходилось переступать через влюбленных. Наиболее застенчивые уходили в океан, на поверхности, как тыквы, качались головы, и земля двигалась вокруг своей оси не равномерно, а толчками, в такт любви.

Я ходила изгоем. Во мне никогда не селилось такого вот страстного всепоглощающего чувства. Я, как человек с хроническим насморком, попавший в благоуханный сад. Все вижу, но ничего не чувствую. Может быть, я действительно хладнокровная, как змея...

Репетировали свадьбу Золушки и принца. На мне было платье, похожее на

сгустившийся воздух. Принц – весь черный, в черном смокинге.

Надо было целоваться, но я медлила. Камера была близко от нас. Снимали крупный план.

– Целуйтесь! – скомандовал ты.

От принца исходил незнакомый мне, неувовимо-сладковатый запах. Говорят, черная кожа пахнет иначе, чем белая.

– Целуйтесь же! – крикнул ты.

Я поцеловала принца в лоб.

– Ты что, с покойником прощаешься?

Принц видел, что я смущена, и смущался сам. У него было французское имя Арман, и он вообще был симпатичный, образованный и скромный молодой человек. Но Арман существовал ВНЕ моего восприятия. Это невозможно объяснить.

Ты подошел, отодвинул принца, обнял меня и поцеловал. Это длилось несколько секунд. Видимо, ты учил Армана, как это делается.

Потом отошел, уступил свое место.

Я закрыла глаза и решила для себя: ты не отошел. Это твои руки, твои губы. Я целовала Армана, целовала, как будто пила и хотела выпить без остатка.

– Мотор! – крикнул ты.

Оператор застрекотал камерой. Кадр был выстроен. Цветовое решение оптимальное. Я в белом. Принц в черном. Как муха на сахаре.

– Стоп!

В принце вдруг сильно застучало сердце. Я его завела и завелась сама. Мы продолжали начатое.

– Стоп! – крикнул ты.

Я очнулась, но другая. Хронический насморк прошел. Я как будто слышала все запахи жизни. Хотелось поступка. Хотелось взять тебя за руку и уйти с тобой в волны океана. И пусть наши головы качаются над волнами, как две тыквы.

На берегу океана орали русские песни: «Без тебя теперь, любимый мой, земля мала, как остров». Неподалеку размещалась русская колония. Гуляли русские специалисты. Скоро Фидель Кастро обидится на Россию, и русские специалисты уедут. А сейчас пока поют.

«Без тебя теперь, любимый мой, лететь с одним крылом...»

Я не могла уснуть. Надела шорты и вышла на берег. Берег пористый, как поверхность Луны. Я шла по Луне и вдруг увидела тебя. Ты приближался навстречу. Выследил? Или тоже пошел погулять?

– Во все времена были дочки и падчерицы, – сказал ты.

Я поняла, что ты постоянно думаешь о своем фильме. Как Ленин о революции. Как маньяк, короче.

– А черепахи совокупаются по тридцать шесть часов, – сказала я. У меня была своя тема.

– Откуда ты знаешь?

– У Хемингуэя прочитала.

– А Хемингуэй откуда знает?

Мы стояли и смотрели друг на друга.

Наше молчание и стояние затянулись.

Наконец я сказала:

– Проводи меня. Я боюсь.

Такая реплика выглядела правдоподобной. Кубинцы – народ горячий. Они свободные и страстные, как молодые звери. Им ничего не объяснишь, тем более по-русски.

Ты взял меня за руку, и мы пошли в отель «Тритон».

Кровать в моем номере трехметровая, можно лечь вдоль, а можно поперек. Мы так и поступили. Лежали то вдоль, то поперек. Я поразилась: как хорош ты в голом виде и как

открыто выражаешь свои чувства. Черепахи так не умеют. Так могут только люди.

Я тогда еще не догадывалась, что это ЛЮБОВЬ, я думала – обычный рельсовый роман. Мы заснули.

Утром я проснулась раньше и смотрела на тебя, спящего. Ты был смуглый от природы да еще загорел. Я подумала: «Вот мой принц».

Я встала и захотела выйти на балкон, но боялась тебя разбудить и стала отодвигать жалюзи тихо, по миллиметру. Мне казалось: если действовать тихо, я тебя не разбужу. Но ты, конечно же, проснулся и следил за мной из-под ресниц. Твое лицо было непривычно ласковым.

Страсть – это болезнь. Лихорадка. Я играла, как никогда. На грани истерики. Глаза меняли цвет, как море.

– Что это с ней? – спросил Димка Барышев.

– Актриса, – ответил ты.

Во мне действительно вскрылась АКТРИСА и вышла из берегов. Я как будто подключилась к ИСТОЧНИКУ. И удвоилась. Меня стало две.

По ночам ты приходил на наше стойбище любви. И я опять удваивалась, потом исчезала. Превращалась в другое качество. Шла божественная химия. $H_2+O=H_2O$. Без тебя газ, водород. А рядом с тобой перехожу в другое качество, в молекулу воды.

Однажды я опустила на колени и сказала:

– Господи, не отомсти...

Мне показалось, что за такое счастье Бог обязательно взыщет. Что-то потребует.

Фильм набирал высоту. Когда смотрели отснятый материал, пересекало дыхание. Кубинская часть приходилась на середину фильма. Середина, как правило, провисает. А здесь удалась. Финал – самоигральный. Провалиться невозможно. Так что уже можно сказать: ты выиграл этот фильм.

Ты интуитивен, бредешь наугад, как мальчик с пальчик в лесу. Уже никакой надежды, и волк за кустом – и вдруг точка света. Выход. Спасение.

Точка света – это я. А у меня – ты.

Я больше никого не боюсь. И ничего. Я не боюсь, что через год мне будет двадцать семь. А через десять лет – тридцать семь, и я начну играть мамаш, а потом бабушек.

Моя молодость не кончится до тех пор, пока я буду видеть точку света. Две точки – твои глаза. Глаза у тебя потрясающие: беззащитные, как у ребенка. Циничные, как у бандита. Отсутствующие, как у мыслителя.

Я люблю тебя, но как... Нежность стоит у горла. Хочется качаться, как мусульманин. Хочется молиться на тебя и восходить к Богу.

Господи, спаси меня, грешную... Помилуй мя...

Улетали зимой, хотя для Кубы времени года не существует. В самолете мы сидели врозь. Ты боялся, что группа о чем-то догадается и доложит твоей жене. И я тоже боялась, что группа догадается и доложит твоей жене. Это значит: я не смогу позвонить в твой дом. Справедливости ради надо сказать, что твоя жена очень милая и трогательная, как кролик. Ее не хочется обижать.

Солнце садилось на океан. В небе горел розовый веер. Какой-то невиданный размах красок. Природа в этом месте земного шара совсем сошла с ума.

По небу летели птицы, они держались плотно, их клин походил на кружевную шаль, раскинутую в небе. На фоне заката клин казался черным.

Интересно, куда они летят? Может быть, даже в Россию. Зачем птицы летают туда-сюда, покрывают такие расстояния, набивают под крыльями костяные мозоли, гибнут в дороге?... Зачем? Чтобы через несколько месяцев лететь назад? Но об этом надо спросить у птиц. Может быть, они только тем и живут, что вначале хотят улететь, а потом хотят вернуться.

Так и ты. Дома ты будешь тосковать обо мне. А со мной – угрызаться совестью о доме. Может быть, эти два состояния необходимы человеку для равновесия.

Самолет врезался в клин. Разрубил его мощным телом. Одну из птиц засосало в мотор. Хрупкие полые кости, нежное птичье мясо, а затарахтело, как камень. Вряд ли птица сумела что-то понять.

Мне стало не по себе. Я отстегнула ремень, прошла по проходу и села возле тебя. Ты надежно отгораживал меня от космической пропасти. Сначала ты, потом окно иллюминатора, а за ней вечность. Ты – надежная прокладка между мной и вечностью. С тобой не страшно.

Я думала, что ты меня прогонишь, но ты взял мою руку в свою.

Спросил:

– Чего это у тебя ногти ломаные?

– Так я же Золушка...

В Москве мы разъехались в разные стороны. Ты домой, и я домой. У меня дома мама, сестра, племянница. Бабье царство. Все с дочками и без мужей. И, между прочим, все красивые, умные, с несложившимися жизнями. У тебя дома отец, жена и три сына. Мужское начало представлено широко. Твои сыновья виснут на тебе – справа и слева, и ты становишься тяжелей, весомей, логичней на этой земле. Ты и твоё бессмертие – твои сыновья.

Есть ещё одно бессмертие. Твоё ДЕЛО. А у твоего дела – мое лицо молодой змеи с гладкой головкой, пристальными глазами и высокой шеей. Ты звонишь мне по телефону и лежишь с телефоном в обнимку. Твой голос дрожит и ломается от нежности. Он течет, как теплые волны Карибского залива...

Мама входит в комнату и спрашивает:

– С кем ты разговариваешь?

Наш фильм выходит на экран. Бушует неделю по всем кинотеатрам, как эпидемия. И через неделю мы знамениты. В прессе меня называют звездой, Вальку – фейерверком, а тебя – факелом. Мы являем собой что-то одинаково светящееся.

Мы вместе ездим на премьеры в другие города. В других городах ты обязательно начинал пить и впадал в депрессию. А Валька бегал по кладбищам и базарам. Он считал, что базар и кладбище определяют лицо города.

Ты никуда не выходил, лежал в гостиничном номере. Любовь и слава ни от чего не спасали, потому что тебе, как и каждому человеку, нужна гармония. А гармонии нет. Любовь в одном месте, семья – в другом. Но любовь подвластна вариантам. Можно любить Золушку, можно падчерицу, а можно фею. Дети – это величина постоянная. И жена – как часть неизменного целого. Я все понимаю, но не хочу думать наперед. Я знаю, что без тебя я ничто. Аш-Два. Выдох. А с тобой я молекула воды. Вода – жидкий минерал. Значит, я из неощутимого газа превращаюсь в минерал. Разве этого мало?

Однажды Валька сказал о тебе: «Он страшный человек. Он никогда не голодал».

Я считаю иначе. Страшнее те, кто голодал. Когда человек живет в любви и достатке, он развивается гармонично. Но вообще я бываю довольна, когда о тебе говорят плохо. Значит, кому-то ты не нравишься, хотя бы одному человеку. И, значит, меньше опасность, что отберут.

Помнишь, как мы уезжали и я вела тебя, пьяного, держа за руку, как упрямого ребенка? Ты шел следом на расстоянии вытянутой руки, смеялся и говорил:

– Ну что ты держишь так крепко? Я – это единственное, чего ты не потеряешь. Никогда.

А помнишь, как я влезла к тебе на верхнюю полку, а внизу спал какой-то командированный, и надо было, чтобы он ничего не услышал?

В поезде ты сделал мне предложение. Ты сказал:

– Я устал бороться с собой. Выходи за меня замуж, и всю ответственность за твою жизнь я беру на себя.

Я ничего не ответила. Ты был пьяный, и я знала, что наутро ты забудешь о сказанном.

Ты не забыл. Я видела это по твоему лицу. Ты смотрел на меня не как обычно – в глаза,

а чуть-чуть мимо глаз: в переносицу или в брови. Ты избегал прямого взгляда, потому что опасался: вдруг я напомню, переспрошу, уточню?

Я не стала переспрашивать и уточнять. Я понимала, что из тебя выплеснулось желаемое, но невозможное.

Мы вышли из поезда и сели в такси. Шофер заблудился специально, вез нас кругами, чтобы на счетчике было больше денег. Ты разозлился, а я стала тебя успокаивать, как мать успокаивает ребенка. Я гладила твое лицо – не щеки, а все лицо, брови, глаза. Господи Боже мой... Какое это было счастье – гладить твое лицо, и целовать, и шептать...

Ты не знаешь, что тебе снимать. Ты отдал всего себя прошлому фильму и пуст. И кажется, что так и будет всегда. У тебя послеродовая депрессия. Режиссеры, как правило, запасливы, как белки. У них наготове три-четыре сценария. И жизнь расписана на десять лет вперед. Ты этого не приемлешь. Для тебя фильм – это любовь.

Когда любишь, то кажется: это будет длиться вечно. И невозможно заготавливать объекты любви впрок, ставить их в очередь.

Но ничто не длится вечно. Заканчивая фильм, ты проваливаешься в пустоту и сидишь в этой пустоте, подперев щеку рукой.

Я смотрю в твое лицо и говорю, говорю, а потом слушаю тебя. Ты говоришь, говоришь и слушаешь меня. И таким образом рождается новый замысел. И Валька Шварц уже садится и пишет.

О чем? Это история Виктора Гюго и Джульетты Друэ. Была такая Джульетта в его жизни, кажется, актриса. И была жена, ее тоже как-то звали. Но никто не помнит – как. А Джульетту Друэ помнят все. У нее даже есть последователи, ее могила охраняется фанатиками, поклонницами ее жизни.

Это началось у нее с Виктором, как обычный роман. Ничего особенного, писатель и актриса. Потом засосало. Джульетта следовала за Виктором как нитка за иголкой. И по вечерам Виктор шел к ней, вдохновленный, и никто этого не знал. А Джульетта сидела на пенечке, в шляпке, ждала. Смотрела на аллею. И вот он идет. Она всплескивает ручками – и к нему навстречу. Припадает к груди. Ах... И так из года в год.

Прошла жизнь. Жена смирилась, и в старости они живут втроем. Они все нужны друг другу. Жена болеет, Джульетта ей помогает. Они все вместе тащатся по жизни, поддерживая друг друга.

В конце концов все умирают. И Джульетта тоже умирает, и ее жизнь – подвиг любви и бескорыстия – становится явлением не меньшим, чем талант Виктора Гюго.

Новая точка зрения на супружескую измену, на проблему «долг и счастье».

Валька пишет. Мы ждем.

Мы встречаемся каждый день и расстаемся для того, чтобы встретиться опять. И эти разлуки нужны, как день и ночь в сутках. Ведь не может быть вечный день или вечная ночь.

Хотя, конечно, вечная ночь накроет нас когда-нибудь. Мы умрем когда-нибудь. Но зачем думать о смерти? Мы будем думать о жизни. Жизнь удается, если удается ЛЮБОВЬ. В этом дело.

Я возвращаюсь домой и лежу в обнимку с телефоном.

Мама входит и спрашивает:

– Почему он не делает тебе предложение?

– Делает, – говорю я. – Творческое предложение.

– Так и будешь вечной любовницей? – интересуется мама.

– А чем плохо любить вечно?..

Валька пишет. Мы ждем. И любим друг друга везде, где можно и нельзя. В машине, в подъездах, у стен храма на выезде из Москвы, в доме Вальки. Мы спариваемся бурно и постоянно, как стрекозы, которые родились на один сезон, им надо успеть насладиться жизнью и оставить потомство. Ты жаждешь меня и не можешь утолить своей жажды. И чем все это кончилось? Тем, что я забеременела и попала в больницу.

Я лежала в общей палате на десять человек.

Ты приходил ко мне через день. Я спускалась к тебе в халате.

Мы стояли на лестнице. Ты говорил:

– Когда тебя нет, нет ничего. Пусто и черно, как в космосе.

Я спросила:

– Может, я тебе рожу?

Ты помолчал и ответил:

– Не надо. Дай мне спокойно умереть.

Ты пьешь, это превращается в болезнь. Талант – это тоже болезнь своего рода. Патология одаренности. Кино съедает тебя всего целиком. Ты совершенно не умеешь жить. Ты умеешь только работать. У тебя хрупкая психика, нет уверенности в завтрашнем дне. Режиссер – человек зависимый: вдруг кончится талант? Вдруг придут власти, которые запретят? Вдруг придет болезнь, как к Параджанову, и съест мозг?

И только я – отдых от проблем. Со мной только счастье и прекрасная химия. Пусть так и останется. Пусть все будет, как было.

– Хорошо, – торопливо соглашаюсь я. – Ты потерпи...

Я думаю только о нем. Ты потерпи мое отсутствие, а потом я опять сяду в шляпке на пенек, как Джульетта Друэ.

Пришел Валька Шварц и принес мне мандариновую ветку с мандаринами. – Поставь в банку, как цветы. Это не завянет, – сказал Валька.

Я никогда не видела раньше мандариновую ветку. Желтые шарики висели, как елочные украшения. Листья пахли цитрусом. Откуда в Вальке эта тонкость?

– Хочешь, я скажу тебе, что будет дальше? – спросил Валька.

– В стране? – уточнила я, потому что в стране продолжались бешеные перемены, и народ все еще жил перед телевизором.

– Нет, не в стране, – ответил Валька.

– В сценарии?

Я знала, что Валька сейчас на тридцатой странице, в том месте, где Виктор Гюго теряет сына. Сын тонет, Виктор узнает это из газет.

– Нет, не в сценарии, – сказал Валька. – В твоей жизни. Что будет дальше с тобой.

– Интересно... – Я напряглась, поскольку Валька любил говорить о тебе гадости.

– Ты сделаешь аборт. Больше никогда не родишь. Ты начнешь его упрекать. Вы станете ругаться, и он тебя бросит. И ты превратишься в подранка.

– В кого?

– В раненого зверька, но не убитого до конца. Из тебя будет торчать нож.

– А он?

– А он найдет себе другую и будет эксплуатировать ее терпение и молодость. Сейчас он эксплуатирует терпение жены, твое тело. И ждет, когда это кому-нибудь надоест.

– Что ты предлагаешь? – спросила я.

– Я предлагаю тебе сохранить ребенка. А там видно будет.

Я представила себе, как пополню команду в нашей семье: мама – молодая, красивая, без мужа, с двумя взрослыми дочерьми. Сестра – с дочерью и без мужа. Теперь я – кинозвезда с ребенком и без мужа. А там будет видно. Или не видно.

– Найдешь себе настоящего мужчину, – сказал Валька.

– Что такое настоящий мужчина, по-твоему?

– Деньги и мясо, – объяснил Валька. – Мужчина должен зарабатывать деньги, сам выбирать на базаре мясо и отвечать за свою женщину. А твой – не мужчина. Сын полка, всеобщая сиротка. Ни за что не отвечает и только разрешает себя любить.

– Он талант, – возразила я. – Это важнее мяса на базаре.

– Талант не освобождает человека от простой порядочности.

Я молчала. Мне жаль было убивать нашего ребенка. Я его уже любила.

По моим ногам дул ветер. Я замерзла.

Валька снял куртку и положил ее на лестничную площадку, на которой мы стояли.

– Встань, – сказал Валька. – Пол холодный.

Я не вставала. Мне не хотелось топтать его одежду.

– Выходи за меня, – предложил вдруг Валька. – Никто и не узнает, чей это ребенок.

– Я тебя все равно брошу.

– Потом все равно вернешься.

– Почему? – удивилась я.

– Потому что он будет всегда женат. А я буду всегда тебе нужен. Между нами будут действовать две силы: центробежная и центростремительная.

Я внимательно посмотрела на Вальку. Он хорошо и даже как-то весело встретил мой взгляд. Любое месиво жизни Валька украшал острым умом – остроумием. Может быть, именно поэтому Валька брал готовые литературные конструкции – Золушка, жизнь Гюго, – пропускал это через мясорубку своего видения, и получалось нечто третье. Жаль, что я любила не Вальку. Но я любила не Вальку.

– Ты сама бросишь его, когда у тебя раскроются глаза, – сказал Валька. – Он подбирает людей по «системе собак». До тех пор, пока они ему служат. А когда перестают служить, он набирает новую команду.

– Пусть, – сказала я.

– Ну и дура, – сказал Валька.

– Конечно, – согласилась я.

Мы засмеялись, чтобы не заплакать.

Ветку с мандаринами я поставила в банку, и когда мои соседки по палате, бедные, выскобленные прекрасные женщины, увидели желтые шарики на ветке, их лица стали мечтательными.

Среда – день аборт. В этот день через руки врачей проходит по двадцать женщин.

Самое мучительное – это когда раскрывают ход в твое нутро, в святая святых. Этот ход природа сомкнула намертво, и раскрывать приходится железом и усилием. Взламывать. Потом берут ложку на длинной ручке, она называется кюретка, и выскабливают хрупкую жизнь. На маленьком подносике образуется кровавая кучка. Ее не выбрасывают. Это биологически активная масса, из нее что-то приготавливают. Кажется, лекарство.

Я лежала в определенной позе и ждала, когда мне дадут наркоз. И в этом временном промежутке ожидания я успела подумать: вот так же, в этой позе, я принимала тебя и любила. А сейчас в этой же самой позе я убиваю результат нашей любви. Вместо теплой, желанной плоти в меня войдут железо и боль.

Когда я отдавалась тебе с разбросанными ногами – это было красиво. А сейчас, когда сие не освящено чувством, – это стыдно, унижительно и противоестественно.

Все то же самое, но со знаком минус.

Мне захотелось все это прекратить, встать, уйти и забыть, как страшный сон. Но в мою вену уже вошла игла, и я поплыла, и, уже плывя, пыталась что-то объяснить, и полетела в черноту. Наверное, именно так и умирают.

Я постоянно возвращаюсь в ту черную среду. Я опоздала на тридцать секунд. Мне надо было успеть сказать, что я передумала, потом встать с кресла и уйти. Потом я позвонила бы Вальке Шварцу, и он приехал бы за мной на машине и забрал к себе домой. Ты бы позвонил вечером, мама бы сказала:

– А она у Валентина Константиновича.

– А что она там делает? – удивился бы ты.

– Не знаю. Кажется, вышла за него замуж.

Ты пришел бы к нам. И сказал бы мне одно слово:

– Змея.

– Змея жалит только тогда, когда защищается, – ответила бы я. – А в остальное время это тихое, грациозное создание.

Ты бы сказал:

– Я думал, что ты моя Джульетта Друэ.

– Джульетта Друэ была слабая актриса. Она служила идее искусства через другого человека. Через Виктора Гюго. А у меня есть свой талант и свое материнство. В этом дело.
– Я думал, мы никогда не расстанемся, – сказал бы ты.
– А мы и не расстанемся. У моего сына (в мечтах это был сын) половина твоего лица. Так что мы всегда вместе.

* * *

Вот так я могла говорить с тобой, если бы послушалась Вальку. Но я не послушалась, и все стало развиваться по его сценарию.

Валька – великий сценарист.

Мы стали ссориться.

Отношения не стоят на месте. Накапливается усталость.

Ты подвозишь меня к моему дому и уже знаешь, что я не захочу сразу выйти из машины. Буду медлить. Ныть. И я медлю. Ною. Потом все-таки выхожу.

Ты срываешь машину с места, как застоявшегося коня, и мимо меня проносится твой профиль над рулем. И я вижу по профилю: ты уже не здесь. Не со мной.

Вечером ты мне звонишь. Я лежу в обнимку с телефоном.

Мама смотрит на меня и говорит:

– Дура. А он сволочь.

В конце декабря грянул мороз, и моя машина заглохла в центре города, неподалеку от твоего дома. Я забежала в автомат, позвонила к тебе домой. Объяснила создавшуюся ситуацию. Спросила:

– Не подскочишь?

От моего дыхания шел пар, и ресницы заиндевели.

– Не подскочу, – ответил ты легким голосом. – Я пообещал Денису пойти с ним в «Орбиту». Я уже полгода обещаю, и все время что-то происходит.

Денис – это младший сын. «Орбита» – магазин. Значит, Дениса отменить нельзя, а меня можно. Меня можно бросить в тридцатиградусный мороз на дороге – выкручивайся, как хочешь.

Во мне что-то лопнуло. Я проговорила почти спокойно:

– Когда ты сдохнешь, я приду и плюну на твою могилу.

Я не ожидала от себя этих слов. И ты тоже не ожидал от меня этих слов. Ты замер, потом сказал:

– Не говори так. У меня воображение...

...Ты живо представил себе сырой холм на Ваганьковском кладбище, неподалеку от могилы Высоцкого. Я подъехала, оставила машину за оградой, а сама прошла на территорию кладбища. Подошла к твоей могиле, плюнула и ушла. О Боже...

На другой день мы встретились у Вальки для работы. Валька должен был читать нам новый кусок. Отношения Джульетты и Виктора начинали уставать. Любовь тоже болеет и выздоравливает. Или умирает в мучениях.

Ты разделся и повесил куртку. Я не смотрела на тебя после вчерашнего. Я тебя ненавидела. Не-на-ви-де-ла.

Потом все-таки подняла глаза и увидела: над твоей бровью малиновая полоса, как будто приложили утюг.

– Что это? – спросила я.

– Сосуды рвутся, – грустно ответил ты.

И у меня самой что-то порвалось внутри, и жалость пополам с любовью затопила грудь. Я обняла тебя, прижала, прижалась сама. Сказала тихо:

– Прости...

Я ненавидела себя за мелочность. Ну, не родила... Ну, проторчала час на дороге. Не

умерла же. И даже если бы и умерла. ВСЕ можно положить к ногам любви. Даже жизнь.

– Прости, – снова сказала я.

Ты стоял – покорный и доверчивый, как ребенок.

* * *

Через неделю мы опять поругались.

Это было в гостях. Хозяин дома подарил мне Библию. Хозяин дома был иностранец, делал бизнес на русском православии, вернее, на церковном песнопении. Он возил церковный хор по городам Европы и очень неплохо зарабатывал. Но дело не в нем, а в Библии. Хозяин дома протянул мне Библию. Ты цапнул ее, перехватил, положил на свой стул и сел сверху. Как бы шутливо определил: МОЕ. Шутливо, но отобрал.

Я шутливо столкнула тебя со стула и забрала книгу.

Ты ничего не сказал, просто посмотрел очень внимательно.

Твоя собака не слушала команду. Не повиновалась. Такую собаку надо менять.

Я все чаще ненавидела тебя. Если раньше между нами была любовь – любовь, то теперь любовь – ненависть. Как коктейль «Кровавая Мери», когда водка смешивается с томатным соком.

Меня пригласили во Францию сниматься в кино. Однажды вечером позвонил человек по имени Жан-Люк, предложил роль, контракт и сказал, что вечером мне завезут сценарий.

Я готова была сказать «да» сразу, независимо от роли и суммы гонорара. Я хотела поменять картинку за окном и выплеснуть из себя «Кровавую Мери».

Ты спросил:

– А как же Джульетта Друэ?

Я ответила:

– Джульетта – дура. А Виктор – сволочь.

Ты удивился:

– Почему?

– Потому что он эксплуатировал ее чувство. А она разрешала. И всю жизнь проторчала в любовницах.

– А могла бы выйти замуж за офицера в синей майке и варить ему фасоль.

– А что, существуют только таланты и бездари? Черное и белое? А середины не бывает?

– Середина между черным и белым – это серый цвет. Серость.

Впоследствии я убедилась: ты был прав. Но это впоследствии.

А сейчас я хотела чего-то еще.

Наша любовь была похожа на переносенный плод, который уже не уместится во чреве и задыхается, а ему все не дают родиться. Я перестала себе нравиться в твоём обществе.

Ты смотрел на меня внимательно. Твоя собака перебежала на чужой двор.

Любовь и ненависть составляли всю мою жизнь. Мои ссоры с тобой – не что иное, как борьба за тебя. Я бунтовала, потому что подтягивала тебя к своему идеалу. Но ты не стал подтягиваться. Ты исповедовал «систему собак». Тебе легче сменить собаку, чем подтягиваться. И ты бросил меня в конце концов. Ты позвонил мне, как обычно, и сказал:

– Наши отношения зашли в тупик. И продолжать их – значит, продолжать тупик.

– Ты хочешь со мной поссориться? – спросила я.

– Я хочу с тобой расстаться.

– Нет, – растерялась я. – Нет...

Я хотела закричать: «Не-е-ет!!!» Я закричала бы страшно, так, что вылетели бы стекла из окон. Так кричат люди, которые срываются в пропасть. Но в это время в дверь постучали, и вошел Жан-Люк.

– Привет, – сказал Жан-Люк, потому что не умел выговорить русского «здравствуй».

Семь согласных букв на две гласных были ему не под силу.

– Как хочешь, – сухо сказала я в трубку. – Я не возражаю.

Ты ожидал другой реакции и обиделся.

– У тебя будет все, – сказал ты. – Но не будет меня. И тебе будет очень плохо.

– Хорошо, – сухо повторила я. – Я не возражаю.

Я положила трубку. Я не могла двигаться, потому что в моей спине торчал нож. Я не могла ни двигаться, ни дышать.

– Пойдем в казино, – предложил Жан-Люк.

– Пойдем, – сказала я.

Казино находилось у черта на рогах, в Олимпийской деревне. Жан-Люк несколько раз вылезал из машины и спрашивал, как проехать. Я сидела в машине и ждала. Быть и казаться. Я казалась молодой женщиной, лихо испытывающей судьбу-рулетку. А была... Правильнее сказать: меня не было. Из меня изымалась главная моя часть – О, и жидкий минерал – вода – постепенно испарялся, превращался в бесплотный газ. Я не представляла себе, как жить. О чем говорить? И зачем?

В казино я стала играть. Мне начало везти. Я выигрывала и выигрывала, и этот факт убеждал меня в потере любви. Срабатывал закон компенсации. Судьба отняла тебя, а за это дала денег. Заплатила.

На выигранные деньги я купила себе норковую шубу цвета песка. Отрезала волосы, повесила над бровями челку, поменяла стиль. И когда я шла, молодая и уверенная, в дорогой длинной шубе, никому не приходило в голову, что в спине у меня нож.

Прошло десять лет. Ты бросил жену и женился в третий раз. Не на мне. На другой. Если я змея, то она кобылица, та самая, из «Конька-горбунка», которая топчет пшеничные поля. Эта тоже вытопчет любое поле. К кино не имеет никакого отношения. Что-то покупает и продает. Занимается бизнесом. Бизнес-вумен.

Я постоянно задавалась вопросом: почему ты выбрал ее, а не меня? Разве мы не любили друг друга? Разве я не была твоей музой?

Да. Была. Любил. Но дело не во мне или в ней. Дело – в ТЕБЕ. Это ты стал другим. Тебе захотелось поступка. Захотелось развернуть корабль своей жизни резко вправо или влево.

Я невольно расшатала коренной зуб твоей семьи. А она подошла и без труда вытащила этот зуб.

Я не интересовалась подробностями, но знаю, что кобылица не выносила твоих запоев. И через месяц ты уже не пил. Тебе, оказывается, нужна была сильная рука. В новой «системе собак» собакой оказался ты. А она хозяйка. Она сильнее меня. Вернее, не так: моя энергия уходила на творчество, а ее энергия – на саму жизнь. Она талантливо жила, а я отражала жизнь.

Я много работаю и много путешествую. Меня постоянно кто-то любит, но уже никто не мучает. Вернее, так: я не мучаюсь. И не задерживаюсь подолгу на одной любви. Перехожу к следующей.

У меня есть деньги, слава и одиночество. А мне хотелось бы другую конструкцию: деньги, слава и любовь. Но не получается.

Я спрашиваю у Вальки Шварца:

– Ну почему у меня не получается?

– Не положили, – отвечает Валька и разводит руки в стороны. А между руками – пустота.

Мы никогда не видимся, но следим друг за дружкой издали. Ты все знаешь обо мне, а я о тебе.

Фильм о Джульетте Друэ был снят с другой актрисой и прошел незамеченным, как будто его и не было. Критика оскорбительно молчала. Ты не привык к поражениям и замер. У тебя появился страх руля, какой бывает у водителей после аварии. Но потом ты воспрянул и стал самостоятельно прославлять свой фильм. Ты, как Сталин, не признавал за собой

ошибок, а все свои недостатки выдавал за достоинства.

Следующим фильмом ты решил взять реванш, но получился новый провал. Ты постепенно отходил на средний план, потом на общий. Почему? Может быть, потому, что распалась команда: я, ты и Валька.

Может быть, дело не в команде – во времени. За десять лет время сильно изменилось. На крупный план выходили не режиссеры, а банкиры в малиновых пиджаках, держащие руку в кармане. В кармане, набитом деньгами.

А может быть, дело в том, что тебе нельзя было завязывать с пьянством. Возможно, пьянство входило в твой творческий цикл. Ведь никто не знает, из какого сора растут цветы.

Кобылица прошла и по твоему полю. Так тебе и надо. Или не надо? Я по-прежнему испытываю к тебе любовь и ненависть. Коктейль «Кровавая Мери» по-прежнему полощется в моей душе. Он не выдохся и не прокис от времени, потому что настоян на натуральном спирте.

Однажды я встретила тебя в самолете Москва – Сочи. Я летела работать, а ты с женой – отдыхать. Вы с ней одного роста, но она кажется выше. Она быстро прошла вперед по салону. Она вообще все делает быстро. И ходит в том числе. Ты потерял ее из виду, и твое лицо было растерянным. Когда ты поравнялся с моим креслом, я сказала:

– Твоя туда пошла. – И показала пальцем направление.

Ты увидел меня, не удивился, как будто мы расстались только вчера вечером.

– НАША туда пошла, – поправил ты и пошел по проходу.

Самолет стал взлетать, и я взлетала вместе с самолетом. Как тогда, на Кубе. Я вспомнила розовый закат, птицу, попавшую в мотор, отсутствие тверди под ногами. Я стала думать, что значит «наша». Мы расстались с тобой на каком-то внешнем, поверхностном уровне. А внутренняя связь не прервалась, в глубине мы неразделимы. Значит, у нас все общее, и твоя жена в том числе.

Что ж, очень может быть...

Не сотвори

Жена постоянно тормозила вес, и в доме постоянно не было хлеба. Трофимов по утрам открывал деревянную хлебницу, видел там черствые заплесневевшие куски в мелких муравьях, и ему казалось, что эти куски – как вся его жизнь: безрадостная, несъедобная, в каком-то смысле оскорбительная.

Жена появлялась на кухне с виноватым видом и спрашивала:

– А сам не мог купить? Ты же знаешь, я мучное не ем.

– Но ведь ты не одна живешь, – напомнил Трофимов.

– Одна, – мягко возражала жена. – Ты меня в упор не видишь.

Это было правдой. Трофимов любил другую женщину. Ее звали Сильваной, она жила в Риме.

У них не было или почти не было перспектив. Существовало только прошлое, да и то, если честно сказать, это прошлое касалось одного Трофимова.

Трофимов увидел Сильвану в итальянском фильме «Всё о ней». Она сыграла главную роль, и больше фильмов с ее участием в Москве не появлялось. Может быть, Сильвана вообще ушла из кино, а может, продолжала работать, но эти фильмы перестали закупать. Трофимов видел ее только один раз. Ему было тогда пятнадцать лет, он учился в восьмом классе. Сильвана появилась на экране большая, роскошная и породистая, как лошадь. У нее были громадные, неестественно красивые глаза и зубы – такие белые и ровные, каких не бывает в природе, поскольку природа не ювелир, может допустить изъян. Сильвана была совершенством, торжеством природы. Она обнимала обыкновенного, ничем не примечательного типа, прижимала его к себе большими белыми руками. Потом плакала, приходила в отчаяние, и слезы – тоже крупные и сверкающие, как алмазы, – катились из ее прекрасных глаз.

Пятнадцать лет – возраст потрясений. Трофимова Сильвана потрясла в прямом и переносном смысле. Его бил озноб. Он не мог подняться с места.

– Ты что, заболел? – спросил друг и одноклассник Кирка Додолев.

Трофимов не ответил. Он не мог разговаривать. Почему-то болело горло. Сильвана вошла в него, как болезнь, золотистый стафилококк, который, как утверждают врачи, очень трудно, почти невозможно выманить из организма. Он селился навсегда. Иногда помалкивает в человеке, и тогда кажется, что его нет вообще. Но он есть. И дает о себе знать в самые неподходящие минуты.

Окончив школу, Трофимов пошел в университет на журналистику с тайной надеждой, что его пошлют в Италию и он возьмет интервью у Сильваны. Все начнется с интервью. Вернее, у него все началось раньше, с его пятнадцати лет. А у нее все начнется с интервью. Трофимов учил языки: итальянский, английский, японский – вдруг Сильвана захочет поговорить с ним по-японски.

Каждый язык похож на свою национальность, и, погружаясь в звучание чужих слов, Трофимов чувствовал другой народ на слух, становился то немножко англичанином, то немножко японцем.

Для того чтобы попасть в Италию, надо быть не просто журналистом, а хорошим журналистом. Трофимов много и разносторонне учился, превращаясь на глазах у изумленных родителей из бездельника в труженика. Впоследствии потребность в труде стала привычкой, и он уже не вернулся в школу бездельника.

В конце третьего курса двадцатилетний Трофимов получил первый приз журнала «Смена» за лучший очерк, и его фотографию напечатали на предпоследней странице. Фотография была темная, неудачная, но все же это было его лицо, тиражированное в несколько тысяч экземпляров. Оно уже как бы отделялось от самого Трофимова и принадлежало всему человечеству. Это обстоятельство приближало его к Сильване. Они были почти на равных. Трофимов собрал весь курс, и они пошли в ресторан праздновать событие. Гуляли самозабвенно и шумно. Жизнь твердо обещала каждому славу, любовь и бессмертие. Но вдруг, в самой высокой точке праздника, Трофимов ощутил провал. Наверное, из закоулков его организма вылез золотистый стафилококк и пошел гулять по главным магистралям. Трофимов вдруг понял: какая это мелочь для Сильваны – премия журнала «Смена» и гонорар в размере сорока рублей старыми. Трофимову стало все безразлично. Он старался не показывать своего настроения друзьям, чтобы не портить им веселье. Но если бы он попытался объяснить, что с ним происходит, его бы не поняли и, может, даже побили.

После первой премии Трофимов получил вторую – премию «Золотого быка» в Болгарии. Потом – премию Организации Объединенных Наций. А потом Трофимов эти премии перестал считать. Просто он стал хорошим журналистом. Как его шутили называли, «золотое перо». Но какая это была мелочь для Сильваны...

Трофимов долго не мог влюбиться и долго не мог жениться, потому что все претендентки были как лужицы и ручейки, в крайнем случае речки, в сравнении с океаном. Любовь к Сильване делала Трофимова недоступным для других женщин. А недоступность красит не только женщину, но и мужчину. Трофимов казался красивым, загадочным, разочарованным, как Лермонтов. Женщины падали к его ногам в прямом и переносном смысле этого слова. Одна из них упала к его ногам прямо на катке, рискуя получить увечья, потому что Трофимов шел по льду со скоростью шестьдесят километров в час, как машина «Победа». Сейчас эту марку уже не выпускают, а тогда она была популярна. Трофимов споткнулся о девушку и сам упал, и все это кончилось тем, что пришлось проводить ее домой. Девушку звали Галя. Тогда все были Гали, так же как теперь все Наташи. Дома Галя предложила чаю. А за чаем призналась, что упала не случайно, а намеренно. У нее больше не было сил терпеть неразделенную любовь, и она согласна была погибнуть от руки, вернее, от ноги любимого человека. Оказалось, что Галя любила Трофимова с восьмого класса по десятый, а потом с первого курса по пятый. Она училась с ним в одной школе, но в разных

классах. Потом в одном вузе, но на разных факультетах, и Трофимов ее не помнил или почти не помнил. Весь женский мир был расколот для Трофимова на две половины: Сильвана и Не Сильвана. В первую половину входила только одна женщина, а во вторую все остальные. И если ему не суждено было жениться на Сильване, то в качестве жены могла быть любая из второй половины. Почему бы и не Галя, если она так этого хочет.

Свадьбу отмечали у Гали дома. Народу было – не повернуться. Все не уместилось за столом, ели в две смены, как в переполненном пионерском лагере, но все равно было шумно, гамно и отчаянно весело.

Галя обалдела от счастья и от тесных туфель. У нее была большая нога, тридцать девятый размер, она стеснялась этого и надела туфли на два размера меньше, чтобы нога казалась поизящнее. В ту пору считалось красиво иметь маленькую ножку. Потом, через много лет, Галя покупала обувь на размер больше, чтобы удобно было ходить, и носила не тридцать девятый, а сороковой. И ей было безразлично мнение окружающих. Хотя окружающие, ни тогда, ни теперь, не обращали внимания – какого размера обувь на ее ногах. Все было в ней самой. Молодость отличается от немолодости зависимостью от мнения окружающих. Вообще зависимостью.

На свадьбе тоже никто не заметил Галиной жертвы, все веселились на полную катушку, и она чувствовала себя как мачехина дочка, которая сунула ногу в хрустальный башмачок. Кончилось все тем, что она вообще сняла туфли и ходила босиком. Кто-то разбил рюмку. Галя наступила на осколок и порезала ногу. Трофимов помчался за полотенцем, стал перед ней на колени и в этот момент ощутил знакомый провал. Он стоял на коленях не перед Сильваной. Сильвана осталась в Риме со своим мужем, не Трофимовым, а каким-нибудь миллионером, владельцем завода шариковых ручек, электронных часов, экскурсионных бюро, отелей, да мало ли чего еще владелец. А у него, у Трофимова, – свадьба в коммуналке, треска в томате, винегрет и холодец, Галя в тесных туфлях и кровь на руках, как будто он собственноручно зарезал свою мечту.

Гости вокруг них взялись за руки. А Трофимов стоял на коленях в центре хоровода и летел в пропасть своего одиночества.

Потом он напился и заснул в туалете, туда никто не мог попасть. Ломали дверь.

Дальше все понеслось, поехало. На смену пятидесятым годам пришли шестидесятые, потом семидесятые. В шестидесятых годах стали осваивать целинные и залежные земли. Композиторы сочиняли песни, поэты писали стихи, журналисты статьи. «Вьется дорога длинная, здравствуй, земля целинная». В семидесятых стали строить Байкало-Амурскую магистраль. Пожилой певец с двойным подбородком пел с телевизионного экрана: «Бам, бам, бам, бам, бам – это поют миллионы».

Трофимов шагал в ногу со страной, ездил и на целину, и на БАМ, а когда в Тюмени нашли нефть, летал на озеро Самотлор, в котором не водилась рыба. Не жила там. Не хотела. Трофимов летал на вертолете, видел сверху желтые вздувшиеся болота, и ему казалось, что это нарывы на теле земли. Однако ученые утверждали, что болота нужны в природе и даже необходимы. И осушать их – значит насильственно вмешиваться в природу, и она может впоследствии отомстить. Природа лучше знает: что ей надо, а что нет. И человек – не Бог, а тоже часть природы, такой же, скажем, как болото.

Трофимов шел в ногу со временем, иногда спорил со временем, а иногда забегал вперед, что является приметой гения. Гений отличается от обычного человека тем, что забегает вперед на сто лет, а иногда и на двести.

В Италию Трофимов так и не попал. И Сильвана в Москву не приезжала. На английском и японском приходилось разговаривать с другими людьми. Однако от Сильваны, вернее, от любви к ней, остались привычки: много работать, не обращать внимания на женщин, то есть не быть бабником, не прятаться от жизни за женщинами.

У Гали были все основания считать себя счастливой женщиной. Основания были, а счастья не было. Она заполучила Трофимова территориально, но не могла заполучить его душу и не знала, что для этого надо делать. Она имела его и не имела одновременно.

Противоречия распирали Галю изнутри, от этого она толстела и постоянно садилась на диету. Изнуряла себя голодом, постоянно ходила голодная и пасмурная. О каком счастье могла быть речь?

Помимо работоспособности и цельности, Сильвана оставила в Трофимове чувство пропащей жизни. Золотистый стафилококк постарел вместе с Трофимовым и уже реже и не так нагло разгуливал по магистралям организма. Но все же он был. Трофимов это знал и ощущал как ущербность. Сейчас в моде термин: комплекс. У Трофимова был комплекс Сильваны. Он боялся, что это может быть заметно, и прятал комплекс за чванливостью. Многие считали Трофимова высокомерным.

На смену семидесятым годам пришли восьмидесятые. Итальянский неореализм ушел в прошлое. Умер родоначальник неореализма Чезаре Дзаваттини. Джина Лоллобриджида занялась фотографией. На смену старым звездам пришли новые: Стефания Сандрелли, потом Орнелла Мути. Но ни одна из них не могла потрясти Трофимова так, как Сильвана. Возможно, потому, что пятнадцать лет – это возраст потрясений, а сорок пять – нет. В сорок пять может потрясти только прямая и близкая угроза жизни. Например, ты открываешь дверь, а на тебя направлен пистолет, как в итальянских политических детективах последних лет. Ко всем остальным впечатлениям и эмоциям человек с годами адаптируется. Но возможна и другая причина верности. Трофимов был человеком стабильным. Стабильность – свойство натуры, одна из разновидностей порядочности. Трофимов не любил переставлять в квартире мебель, десятилетиями носил одно и то же пальто, работал на одном и том же месте. У него была одна жена Галя, одна любимая женщина Сильвана, один и тот же отпускной месяц июль, один и тот же друг Кирка Додолев, с которым он дружил с шестого класса, с которым когда-то вместе смотрел фильм: «Всё о ней». И именно Кирка, а не кто-то другой, объявил, что отпуск придется перенести с июля на август, потому что в июле будет международный кинофестиваль и в Москву среди прочих приедет итальянская актриса Сильвана.

Приезжала Сильвана. Сбывалась мечта. Мечта была постаревшей, но все же живой.

Кирка Додолев сообщил эту новость по телефону. Он ждал реакцию, но Трофимов молчал. Мгновенно и сильно заболело горло. Он не мог говорить. Трофимов положил трубку и тут же уехал домой. А дома оказалось, что в кухне испортился водопроводный кран, вода беспрестанно капала с изнуряющим щелкающим звуком. Стучала в голову, как дятел. Трофимов завязал горло и вызвал водопроводчика. Ему казалось, что между водой, Сильваной и его здоровьем – какая-то мистическая связь. Но водопроводчик Виталий, вызванный по этому случаю, все объяснил вполне материально: в кране испортилась прокладка. Ее надо поменять.

– А прокладка у вас есть? – спросил Трофимов.

– Почему нет? Есть.

Виталий открыл свой чемоданчик и достал резиновое колечко.

– Вот она, – показал Виталий и стал разбирать кран. Трофимов удивился. Он привык к другой системе взаимоотношений между водопроводчиком и квартирномульщиком. В этой прежней системе водопроводчик должен был сказать, что прокладки исчезли из продажи уже год назад, достать их нет никакой возможности и он берется достать через знакомых водопроводчиков. Ему самому ничего не надо, но труд других людей следует оплатить. Квартирномульщик упрашивал, дребезжал хвостом и платил пять рублей за то, что стоило одиннадцать копеек и лежало в кармане у водопроводчика.

Виталий был другим. То ли выросла новая генерация водопроводчиков, то ли Виталий был индивидуально честным человеком, и к генерации это отношения не имело.

– Сколько вам лет? – спросил Трофимов.

– Сорок пять, – ответил Виталий. – А что?

Трофимов удивился. Виталий выглядел как потрепанный практикант профессионально-технического училища. Генералу Гремину, за которого вышла замуж Татьяна Ларина, было сорок пять лет, и он воспринимался Пушкиным как старик «с седою

головой». То ли в двадцатом веке, в связи с техническим прогрессом изменились условия жизни – и человек не успевает изнашиваться к пятидесяти годам. То ли поколение, родившееся перед войной и в самом начале войны, отмечено инфантильностью. То ли молодость – индивидуальное свойство Виталия, записанное в его генетическом коде. Честность и молодость.

Виталий, если его отмыть и одеть, обладал внешностью, которую мог иметь и член-корреспондент, и путешественник, и бандит с большой дороги.

Трофимов однажды видел телевизионную передачу, в которой перед участниками передачи ставили большой фотопортрет, говорили, что это ученый с мировым именем, и, исходя из внешних данных, просили дать характеристику этого человека. Участники отмечали ум, скромность, сосредоточенность, высокий интеллект. Тогда ведущий признавался, что это не ученый, а уголовник, тяжелый рецидивист. И просил посмотреть повнимательнее. Участники дискуссии смотрели и дружно находили в лице наличие умственной недостаточности, тупости и жестокости. Далее ведущий извинялся и говорил, что это все-таки ученый, физик-теоретик, основатель какой-то теории, и просил всмотреться еще раз. И опять из лица проступали: ум, сила, интеллект. Самое интересное, что и Трофимов воспринимал портрет в зависимости от того, какими глазами он на него смотрел. Стало быть, все зависит от психологической установки.

На Виталия Трофимов смотрел доброжелательно. Захотелось даже рассказать ему о фестивале и о Сильване. Большое событие переполняло Трофимова через край, и было необходимо выплеснуться хотя бы немного. Выплеснуть на жену – невозможно, с женами не принято говорить о других женщинах. С сыном тоже невозможно. Сын находился в таком возрасте, когда все отношения между людьми не имеют оттенков, они конкретны и называются конкретными словами. А какие слова можно было найти для отношений Трофимова и Сильваны... Сын бы его просто не понял. Приходилось рассчитывать на совершенно постороннего человека.

– А в июле будет фестиваль, – как бы между прочим проговорил Трофимов.

Виталий отвлекся от работы, посмотрел за окно. Там шел снег. До июля было далеко. Виталий снова обернулся к раковине, молча продолжал свою работу.

– Пресс-бар будет работать всю ночь. – Трофимов подумал, что, может быть, удастся посидеть с Сильваной за одним столом.

– Где? – неожиданно спросил Виталий.

– Что «где»? – не понял Трофимов.

– Пресс-бар этот где будет размещаться?

– В гостинице «Москва». А что?

– Ничего, – ответил Виталий.

– Вы смотрели фильм «Всё о ней»? Он шел в пятидесятых годах. Вы должны помнить.

– Ну... – проговорил Виталий.

– Смотрели или нет? – переспросил Трофимов. Это была очень важная подробность.

– Не помню.

– Значит, не смотрели. А то бы запомнили. Там была актриса... Она приедет на кинофестиваль.

– Так небось старуха уже, – предположил Виталий.

– Почему? – оторопел Трофимов.

– Фильм шел в пятидесятые, а сейчас восьмидесятые. Вот и считайте. Ей сейчас пятьдесят, а то и все шестьдесят.

Трофимов впервые за все время осознал, что время – объективный фактор, оно шло не только для него, но и для Сильваны. Но не стареют две категории людей: мертвые и люди из мечты. И все же Трофимов обалдело смотрел на Виталия с ничего не выражающим лицом. А Виталий в это время спокойно окончил работу и проверил результаты своего труда. Кран заворачивался плотно и без усилий, прокладка надежно перекрывала струю.

– Готово! – сказал Виталий и стал складывать инструменты в свой чемоданчик.

Трофимов спохватился и полез за бумажником. Раньше такая работа вознаграждалась рублем, но последнее время рубль ничего не стоит. За рубль ничего не купишь. Трофимов размышлял: сколько заплатить – трешку или пятерку. Пятерки много: можно развратить рабочего человека, и он не захочет потом работать без чаевых, потеряет человеческое достоинство. Понятие «рабочая гордость» стало чисто умозрительным. И во многом виновата интеллигенция. Прослойка должна идти в авангарде общества, а не заигрывать с классом и не совать ему трешки.

Размышляя таким образом, Трофимов достал три рубля и протянул Виталию.

– Не надо, – отказался водопроводчик.

– Почему? – искренне удивился Трофимов.

– А зачем? Я зарплату получаю.

– У вас что, ЖЭК борется за звание? – догадался Трофимов.

– За какое звание? – не понял Виталий.

– Бригады коммунистического труда.

– Я лично ни за какое звание не борюсь. Работаю, да и все.

– А у вас таких, как вы, много? – поинтересовался Трофимов.

– Таких, как я, один. Каждый человек уникален. И что за манера обобщать...

Трофимов застеснялся трешки и сказал:

– Ну что ж, большое спасибо... Если что надо, я к вашим услугам.

– Мне хотелось бы хоть раз попасть в пресс-бар, – сознался Виталий.

За окном шел снег. До июля было далеко, а в данный момент очень хотелось угодить Виталию.

– Ну конечно! – с восторгом согласился Трофимов. – С удовольствием...

Виталий ушел. Трофимов подумал о том, что стирается грань между классами. Сегодня уже не отличишь крестьянина от рабочего, рабочего от интеллигента. Все читают книги, и смотрят телевизор, и носят джинсы, которые свободно продаются в магазинах. Хорошо это или плохо? Трофимов не мог ответить однозначно и дал себе задание: подумать. Могла возникнуть интересная тема, которая требовала отдельного исследования.

В пресс-баре разрешалось курить. Помещение было маленьким, поэтому дым висел слоями, как перистые облака. Женщины плавали в дыму с голыми спинами, в украшениях. Было не разобрать: где иностранки, где наши. Все выглядели как иностранки. Официанты, правда, научились их различать наметанным глазом. Трофимов сквозь дымовую завесу увидел себя в зеркале. Он не только не отличался от иностранцев, но был еще иностраннее: сухой, элегантный, в белом костюме из рогожки, с малиновым платочком в кармашке и таким же малиновым галстуком, пахнувший дорогим табаком и дорогим парфюмом.

Сильвану он увидел сразу. Она сидела за столиком возле стены и была на голову выше своего окружения. Она была такая же большая, роскошная и сверкающая, как тридцать лет назад. Возле нее – Трофимов это тоже заметил сразу – сидел вездесущий человек по прозвищу Бантик. Прозвище шло от профессии: женский портной. Бантик – прохиндей и красавец – всегда находился в центре событий. Трофимов мог всю жизнь мечтать сесть возле Сильваны. А Бантик – сидел и наливал ей шампанское в тяжелый фужер. По другую сторону от Сильваны сидел иностранец, представитель какой-то торговой фирмы, работающий в Москве. Возможно, он выполнял роль переводчика. Из двенадцати месяцев в году фирмач девять проводил в Москве, а три – в самолете, перелетая из одной страны в другую. Был он маленького роста, с красивым личиком, баснословно богат, по нашим понятиям. А по западным понятиям – просто богат. Он пользовался большим успехом у женщин. Может быть, последнее обстоятельство и держало фирмача так подолгу в Москве. Русские женщины высоко котируются на Западе. Они искренни, романтичны, и их легче сделать счастливыми.

Бантик увидел Трофимова и помахал ему рукой, приглашая подойти. Пока что все складывалось удачно.

Подойдя ближе, Трофимов увидел за столиком нашего известного кинорежиссера. Он заметно скучал. Его лицо было лицом человека, который переживает вынужденное

бездействие. Такие лица бывают у людей на вокзалах.

Трофимов не смотрел на Сильвану. Оттягивал этот момент. Он его боялся. Но вот оттягивать стало невозможно.

– Знакомьтесь, – бодро представил Бантик. – Это итальянская актриса...

– Я знаю, – перебил Трофимов и прямо глянул на Сильвану. Ему показалось, что он обжегся.

– А это наш журналист. Волк. Волчара, – представил Бантик Трофимова.

Фирмач перевел. Сильвана что-то спросила: видимо, не поняла, что такое «волчара».

– Хороший журналист, – объяснил Бантик. – Гранде профессоре.

Сильвана чуть кивнула, протянула свою большую белую руку. Трофимов смотрел на эту протянутую руку и не смел коснуться.

– Да садись ты. Чего стоишь? – удивился Бантик.

Столик был на шестерых, занято только четыре места. Оставалось два свободных. Бантик подбирал себе окружение. Иметь за столом Трофимова было достаточно престижно. Не Феллини, конечно, но все же... Бантик заботился об окружении, как все внешние люди.

Кинорежиссер вставил в протянутую руку Сильваны фужер с шампанским. Она не поняла, почему «гранде профессоре» не подал ей руки, но, может быть, у русских так принято. Сильвана поднесла фужер к божественным губам и какое-то время рассматривала Трофимова своими лошадиными глазами. Ему казалось, что он стоит в открытом пламени.

– Да садись же ты! – потребовал Бантик.

Трофимов отодвинул стул, чтобы сесть, но в этот момент к нему подошел человек с повязкой.

– Вас спрашивают.

– Меня? – удивился Трофимов.

– Вас, – убежденно сказал дежурный и показал на дверь.

Трофимов посмотрел в ту же сторону, но ничего не увидел за дымовой завесой.

– Сейчас. – Трофимов посмотрел на Сильвану и добавил: – Уно моменте.

Сильвана чуть заметно кивнула. Она вела себя как профессиональная красавица. Это была ее профессия: красавица. Женщина с этой профессией не будет занимать стол беседой, не возьмет собеседника за руку в знак доверия и расположения. Ей это не нужно. Разговаривать и брать за руку – это способ проявить к себе интерес. В некотором роде наступление. А красавица находится в состоянии активной обороны и как средство обороны выставляет стену между собой и окружающим миром. Стена эта прозрачная, но она есть.

И на нее наткнулся Трофимов, хотя не произнес с Сильваной и двух слов. Это наполнило его душу холодом и беспокойством.

– Сейчас, – в третий раз повторил он и пошел следом за дежурным.

Возле дверей дым был пожиже, и Трофимов увидел водопроводчика Виталия, сдерживаемого двумя дюжими молодцами. Виталий был в серой рабочей куртке и рыжей плоской кепочке из искусственной замши. Видимо, он дежурил в ночную смену, вызовов не было, ему надоело сидеть в пустом ЖЭКе – и он приехал, как договорились в феврале.

– Вот он! – завопил Виталий, узнав подходящего к дверям Трофимова. – Я ж вам говорил, а вы не верили, – упрекнул он дежурных. – Скажи им!

Трофимов растерялся. Виталий появился очень некстати, как говорится в пословице, был нужен Трофимову как рыбе зонтик. Но Виталий этого не знал. Не догадывался, что он зонтик. Его пригласили, он пришел, как договорились.

– Ну, я пошел, – сказал Виталий дежурным и протиснулся в бар. – Спасибо, что позвали.

Виталий подошел к Трофимову, огляделся по сторонам.

– Накурено тут, – заметил он. – Ну, где сядем?

Из дымных слоев возник Бантик и спросил:

– Ты не смываешься?

– Нет. Не смываюсь, – ответил Трофимов.

– А у тебя деньги есть?

– Есть.

– Ну так пойдем. А то неудобно.

Трофимов пошел следом за Бантиком. Виталий – за Трофимовым.

Все уселись за стол. Виталий оказался между Трофимовым и режиссером. Сильвана вопросительно посмотрела на Виталия, поскольку он был новым лицом и явно выбивался из общего стиля.

– Его друг, – представлял сам себя Виталий и похлопал Трофимова по плечу.

– Да, – подтвердил Трофимов и неожиданно для себя добавил: – Это наш русский Ален Бомбар.

– О! – изумилась Сильвана, забыв на мгновение, что она профессиональная красавица. – Се импосибле!

– Да, да, – подтвердил Трофимов – Наш Ален Бомбар.

– А кто это? – тихо спросил его Виталий.

– Итальянка, – негромко ответил Трофимов.

– Да нет, тот мужик, за которого ты меня выдал.

– Потом, – сказал Трофимов.

– А разве в Союзе был этот эксперимент? – удивился фирмач.

– Конечно. Мы ни в чем не отстаем, – гордо заметил Трофимов.

– А я ничего и не говорю, – оправдался фирмач.

– Страшно было? – спросил Бантик: видимо, он для себя примеривал этот вариант.

Виталий посмотрел на Трофимова.

– Скажи, что страшно, – тихо посоветовал Трофимов.

– А ты думал... Еще как страшно, – убедительно сыграл Виталий.

– Это и ценно, – заметил кинорежиссер. – Когда не страшно, то нет и подвига.

Загрохотала музыка. Их столик стоял рядом с оркестром. Фирмач пригласил Сильвану танцевать. Она поднялась. На ней было шелковое платье цвета чайной розы. Горьковатый жасминный запах духов коснулся лица Трофимова.

Сильвана пошла с фирмачом в танцующую массу. Он был ей до локтя. Но на Западе это, наверное, не важно. Если богатый, может быть и до колена.

– Во кобыла! – отреагировал Виталий, имея в виду Сильвану.

Бантик увел маленькую блондинку, совсем хрупкую, как Дюймовочка.

– Ух ты, – восхитился Виталий. – Хоть за пазуху сажай.

Трофимов не обиделся на Виталия за Сильвану. Наоборот. Принизив «кобылой», он ее очеловечил. Как бы сократил дистанцию между недостижимой Сильваной и обычным Трофимовым. В конце концов, все люди – люди, каждый человек – человек. Не более того.

– Хоть бы переоделся, – миролюбиво заметил Трофимов.

– А зачем? – удивился Виталий. – Мне и так хорошо.

– Тебе, может, и хорошо. Ты себя не видишь. А другим плохо. Им на тебя смотреть.

– Условности, – небрежно заметил Виталий. – А кто этот мужик?

– Который? – не понял Трофимов.

– Тот, за которого ты меня выдал.

– Ален Бомбар, – отдельно произнес Трофимов.

– Татарин?

– Француз. Он переплыл океан на надувной лодке.

– А зачем?

– Чтобы проверить человеческие возможности.

– Как это?

– Чтобы понять: что может человек, оставшись один в океане.

– А что он может?

– Он может погибнуть. А может уцелеть. От него самого зависит.

– А если бы этого француза акулы сожрали?

– Могли и сожрать. Риск.
– А зачем? Во имя чего?
– Ты уже спрашивал, – напомнил Трофимов. – Он хотел доказать, что люди, попавшие в кораблекрушение, погибают от страха, и только от страха. Он доказал, что если не испугаться, то можно выжить. Есть сырую рыбу и пить морскую воду.
– А он что, попал в кораблекрушение?
– Нет. Он не попадал.
– А зачем ему это все?
– Он не для себя старался. Для других. Он хотел доказать, что из любой ситуации можно найти выход.
– Ага... – Виталий задумался. – А ему за это заплатили?
– Не знаю. Может, заплатили, а может, и нет. Не в этом же дело.
– А в чем?
– В идее.
– А что такое идея?
– А ты не знаешь?
– Знаю. Но мне интересно мнение культурного человека.
– Идея – категория абстрактная, так же как мечта, надежда.
– А любовь?
– Если неразделенная, – ответил Трофимов и сам задумался.
Разделенная любовь превращается в детей, значит, это уже материя, а не абстракция. А неразделенная сияет высоко над жизнью, как мечта. Как все и ничего.
– Мне скучно, – вдруг проговорил режиссер. – Я умею только работать, а жить я не умею. А ведь это тоже талант: жить.
Виталий ничего не понял из сказанного. Трофимов понял все, но не мог посочувствовать. Для того чтобы сочувствовать, надо погрузиться в состояние собеседника. Но Трофимов, как рыба, был на крючке у Сильваны и слушал только свое состояние.
Сильвана и фирмач вернулись. Сели за стол. Сильвана неотрывно смотрела на Виталия, как будто на лбу у него были арабские письмена и их следовало расшифровать.
– Чего это она выставилась? – удивился Виталий.
– Спроси у нее сам.
Трофимов собрал в себе готовность, как для прыжка с парашютом, и пригласил Сильвану танцевать.
Сильвана поднялась и пошла за Трофимовым. Возле оркестра колыхалась пестрая масса. Танец был медленный. Трофимов положил руку на талию Сильваны. Талия была жесткая, как в гипсе. «Наверное, корсет», – подумал Трофимов. Ее груди упирались в него и были тоже жесткие, как из пластмассы. Их лица находились вровень. «Не такая уж и высокая, – понял Трофимов. – Метр семьдесят всего».
Под глазами у Сильваны не было ни одной морщины. Кожа натянута, как на барабане.
«Так не бывает, – подумал Трофимов. – Не могла же она ни разу не засмеяться и не заплакать за всю свою жизнь».
От Сильваны ничего не исходило, ни тепла, ни холода, и Трофимову вдруг показалось, что он танцует с большой куклой и в спине ее есть отверстие для заводного ключа.
Танец кончился. Вернулись за стол.
– Вы помните ваш фильм «Всё о ней»? – спросил Трофимов у Сильваны.
– Я такого фильма не знаю, – ответила Сильвана.
– Ну как же... – растерялся Трофимов. – Он шел у нас... давно.
Сильвана изобразила на лице легкое недоумение.
– Чего это она? – спросил Виталий, поскольку разговор шел по-итальянски.
– Говорит, что не знает фильма «Всё о ней».
– А может, это и не она вовсе, – предположил Виталий.
Трофимов растерялся. Он видел, что та Сильвана и эта – одно лицо. Но Сильвана из

мечты была настоящая, а эта – искусственная, будто чучело прежней Сильваны.

– Наверное, этот фильм у них иначе назывался, – предположил фирмач. – Ваш прокат иногда предлагает свои названия, более кассовые, как им кажется.

– Странно, – проговорил Трофимов.

Он проговорил это скорее себе, чем окружению. Но странность состояла не в том, что прокатчики придумывают свои названия, а в том – как выглядело осуществление трофимовской мечты. Как материализовалась его абстракция.

Если бы золотистый стафилококк вылез и спросил, по обыкновению: «Ну и что?» – Трофимову было бы легче. Он нырнул бы в свой привычный провал и отсиделся бы в нем. Но даже стафилококк молчал и не поднимал головы. Может быть, он умер? Сильвана его внедрила тридцать лет назад – и она же его ликвидировала через тридцать лет?

Сильвана пригласила Виталия танцевать и поднялась. Виталий остался сидеть.

– Тебя приглашают, – перевел Трофимов.

– Я не умею, – испугался Виталий.

– Выкручивайся как хочешь, – сказал Трофимов.

Ему вдруг стало спокойно. Он устал от панического напряжения рыбы на крючке. Захотелось удобно сесть, расслабиться, смотреть и слушать, а можно не смотреть и не слушать, а встать и уйти, например, в зависимости от того, что больше хочется.

Виталий первый, а возможно, и последний раз в своей жизни танцевал в пресс-баре кинофестиваля с итальянской кинозвездой. Он был ниже ее на голову и видел перед собой только украшения, выставленные на ее груди, как в ювелирном магазине.

Две большие руки лежали на его плечах, и ему казалось, что на плечи опустили два утюга: так было тяжело и горячо. От итальянки исходил какой-то мандраж. Виталию казалось, будто он зашел в будку с током высокого напряжения, которая стоит возле их ЖЭКа, на ней нарисованы череп и кости. Виталий держался за Сильвану и несколько опасался за свою жизнь. Не такая уж она была значительная, эта жизнь. Но другой у Виталия не было.

Сильвана наклонилась и что-то проговорила ему в ухо.

– Не слышно ни фиги! – прокричал Виталий.

Итальянка всматривалась, как глухонемая, пытаясь по движению губ понять смысл сказанного.

Виталий показал на оркестр, потом на уши, потом отрицательно помахал рукой перед лицом. Этот комплекс жестов должен был означать: не слышно ни фиги.

Сильвана кивнула головой – значит, поняла – и показала на дверь. Виталий догадался: она приглашает его выйти на улицу, поговорить в тишине и на свежем воздухе.

– Давай, – согласился он. Взял Сильвану под локоть, и они пошли из бара.

Они пробирались мимо столиков, мимо Трофимова и фирмача. Режиссер куда-то исчез: видимо, ушел домой и лег спать. Бантик припарковался к другому столику, рядом с блондинкой, похожей на Дюймовочку. Он увидел Виталия и Сильвану, отвлекся от Дюймовочки и посмотрел им вслед. Хотел что-то крикнуть, но не успел.

– А, плевать на них, – решил он.

– На кого? – уточнила Дюймовочка.

– Да на них, на всех. Понтырщики.

Дюймовочка самодовольно вздернула носик. Бантик плевал на всех, кроме нее. Значит, она превосходит. Имеет преимущество надо всеми. Бантика, однако, что-то мучило. Один пересек океан на лодке, другой «гранде профессоре», третий иностранец. Все выкладывают на стол свои козыри. А Бантик мог выложить только рубли, что немало. Но все же этого мало.

– Да брось ты, – утешила Дюймовочка, уловив его настроение, но не поняв причины. – Ты молодой, а они старые.

Бантик взбодрился. Как он мог не учесть такой козырь, как молодость, перспектива

жизни. Он еще не знал, что день тянется длинно, а десятилетие пролетает в мгновение. Через два мгновения он уже не будет молодым, и надо добывать более стойкие козыри.

Сильвана обогнула гостиницу «Москва» и вошла в нее с парадного подъезда, мимо высокомерного швейцара, похожего на президента маленького государства. Виталий заробел под его всевидящим и одновременно отсутствующим взглядом, но Сильвана обернулась, как бы проверяя целостность и сохранность своего спутника, и Виталий отважно шагнул следом, хотя и не понимал, куда его ведут и зачем. Они вошли в просторный лифт, и даже в лифте стало ясно, что начинается другая жизнь. Виталий возносился в другую жизнь.

Номер Сильваны был высокий, потолки метров шесть. Можно сделать второй этаж, и получится двухэтажная квартира, потолки – три метра, как в современных домах улучшенной планировки.

– Высоко, – сказал Виталий и поднял руку вверх.

Сильвана подняла голову, но ничего интересного не увидела. Для нее эта высота была привычной. Видимо, у нее дома были такие же потолки, если не выше. Она не поняла, что поразило русского Бомбара.

– Ке? – спросила Сильвана.

– Да ладно, ничего, – ответил Виталий и сел в кресло, мучаясь запахом. В номере Сильваны, несмотря на просторное помещение, стоял удушающий запах ее духов.

«Комары дохнут», – подумал Виталий, и это был единственный положительный довод. В Москве стояло жаркое лето – комариная пора. Комар пошел свирепый, распространился даже в городе. На асфальте. Сейчас и моль пошла особая, приспособилась жрать синтетику. Но с другой стороны, что ей жрать, когда натуральную нитку уже не производят. Либо чистая синтетика, либо пополам. И человека потихоньку начинают приучать к синтетике. Говорят, выпустили синтетическую черную икру. По виду не отличишь.

Но при чем тут моль и комар? Сильвана протянула в сторону Виталия две руки и заговорила по-своему. Слова стояли плотно друг к другу и на слух были круглые и гладкие, как бильярдные шары. Смысла Виталий не понимал, однако догадывался, что итальянка говорит что-то важное для себя. У нее даже слезы выступили на глазах. Одета она была чисто, лицо гладкое от хорошего питания, натуральную икру небось ложками ела.

– Жареный петух тебя не клевал, – сказал ей Виталий. – Пожила бы, как моя Надька, тогда б узнала. А то вон... потолки, бусы...

– Ке? – проговорила Сильвана.

– Да так. Ничего. С жиру, говорю, бесишься. У человека трудности должны быть. А без трудностей нельзя. Разложение. Поняла?

Сильвана заговорила еще быстрее. Слова ее так и сыпались, сшибались и разлетались. Под глазами было черно, как у клоуна. Виталию стало ее жалко.

– Да брось ты, – сказал он. – Внуки-то у тебя есть? Щас пожила, под старость с внуками посидишь. Так, глядишь, и время пройдет. Жизнь – ведь это что? Времяпровождение. Если весело, значит, время быстро идет. А если скучно – долго тянется. У меня вон сменщик Кузяев. Я вчера пошел, договорился в девяносто третьей квартире стиральную машину напрямую к трубе подвести – двадцать пять рублей. Каждому по двенадцать пятьдесят. Я договорился, а он Николая взял. А меня, значит, в сторону. Ну? Это честно? Нечестно. А я без внимания. Я – выше! Поняла? А ты говоришь...

Сильвана внимательно, доверчиво слушала Виталия, как девочка. Ей казалось: он говорит что-то очень существенное, разрешает все ее проблемы. Ее успокаивал звук голоса и убежденность, с которой он произносил слова на чужом языке.

Они говорили каждый свое, но Сильване казалось, этот человек понимает ее, как никто другой, и с ним можно быть откровенной до конца. Сознаться в том, что скрывала от самой себя.

– Мне пятьдесят, – проговорила Сильвана. – Но еще не сыграна моя роль, не найден мой мужчина. Ничего нет, все впереди, как в двадцать лет. Но мне – пятьдесят.

Русский что-то произнес. Ей показалось, он сказал:

– Плоть изнашивается быстрее, чем душа. Душа не стареет. Ей всегда двадцать. Как у всех, так и у тебя.

– Все равно мне себя жаль. Я всю жизнь искала Любовь и не нашла.

– Значит, сама виновата.

– Я знаю, я виновата. Моя вина – компромиссность. Я умела довольствоваться Не Тем. Я трусила, боялась остаться одна. И ждала Его с кем-то. А так не бывает. Надо уметь рисковать. Вот ты рисковал жизнью – и ты выиграл себя.

– Ты считаешь?

– Конечно. Ты – настоящий. Все, кого я знала, больше всего на свете тряслись за свою драгоценную шкуру. А ты ее не жалел. Все, кого я знала, заботились о своей внешности, украшали себя. А ты не одеваешься, не следуешь моде, даже не чистишь ногтей. Тебе это можно, потому что ты – настоящий. И как смешны возле тебя все эти в галстучках, и с платочками, и с кошельками.

– Влюбилась, что ли?

– Нет. Просто я чувствую в тебе равного. Я тоже настоящая. И я – одинока.

У Сильваны снова слезы выступили на глазах.

– Ну, чего ты? – Русский чуть коснулся ее руки.

– Мне грустно. Я не могу найти покоя. Как будто большая и настоящая Любовь прождала меня всю жизнь, а я так ее и не встретила. Я снималась в кино, чтобы стать знаменитой, расширить круг общения и найти Его. Но ни красота, ни популярность – ничего не может помочь. Я знаю, что я талантлива, я это чувствую, но главный талант женщины – найти Его, с которым можно было бы гордо пройти всю жизнь. Но мое время уходит.

– Как у всех, так и у тебя, – бесстрастно сказал русский.

– Но я у себя – одна.

– Каждый у себя – один.

– Что ты предлагаешь?

– Смирись.

– Не могу. У меня сейчас ощущение жизненной перспективы больше, чем раньше. Мне кажется: еще все впереди и все будет.

– Это старческое. Молодым кажется, что все позади. А старым – что все впереди.

– Ты жесток с людьми.

– Я и с собой жесток. Надо уметь сказать себе правду.

– Талантливые люди старыми не бывают. Талант – это отсвет детства.

– Уговаривай себя как хочешь. Но если спрашиваешь моего совета, вот он: соответствуй своему времени года.

Сильвана напрягла брови.

– Что это значит?

– Будь как дерево. Как река.

– Но дерево облетает. А река замерзает.

– Значит, облетай и замерзай. И не бойся. Главное – достоинство. Вне достоинства человек смешон. Не унижайся, не перетягивай свое лицо на затылок. Стареть надо достойно.

Сильвана смотрела на русского во все свои большие глаза. Его выражение было немножко дураковатым, и эта дураковатость каким-то образом успокаивала, как бы говорила: а что? Человек – часть природы и должен подчиняться ее законам. Как все и как всё, кроме камней.

– Но ведь замерзать и облетать – это зимой. А я – в осени.

– Готовься к зиме. Постепенно.

– А ты?

– И я.

Он шел с ней в одной колонне. Большая колонна медленно текла в зиму. И дальше.

Сильвана вдруг почувствовала определенность, и эта определенность успокоила ее, все расставила по своим местам. Смятение осело. Душа стала прозрачной. Еще утром она

недоумевала: зачем приехала сюда? А сейчас поняла: стоило ехать так далеко, чтобы узнать – больше ничего не будет. Только зима. И это, оказывается, хорошо. Можно успокоиться, оглядеться, оценить то, что есть. То, что было. Не бежать постоянно куда-то, не устремляться на скорости, когда все предметы и лица сливаются в одну сплошную полосу. Можно остановиться, оглядеться по сторонам: вот дома, вот люди, вот я.

В кране утробно загудело. Виталий на слух обнаружил дефект. Поднялся, пошел в ванную комнату. Снял крышку бачка, где надо подкрутил, где надо ослабил.

Сильвана вошла следом. Стояла и смотрела.

– Чего? – спросил Виталий.

– Ты тот человек, с которым нигде не страшно. Ни на воде, ни на суше, – по-итальянски проговорила Сильвана.

– Да не надо ничего, – отказался Виталий. – Ты все же гостя...

Было совсем рано. Швейцар еще не сменился, смотрел перед собой довольно бодро, значит, где-то выспался в закутке.

– До свидания, – сказал он Виталию.

Виталий не ответил. Ему было не до швейцара.

Он видел перед собой лицо итальянки, вернее, разные ее лица. Ее состояния менялись мгновенно, как у грудного ребенка: тут же рыдает, тут же улыбается. И его Надька такая же. И вообще все бабы одинаковые: итальянка или русская, миллионерша или бедная. И хотят все одного: любить и быть любимыми. Есть поговорка: «Любовь зла, полюбишь и козла». Но эта поговорка приблизительна. Козла, конечно, полюбить можно, но такая любовь долго не держится. Через какое-то время все же понимаешь, что объект любви – козел.

Итальянка приняла его за другого. За француза, который переплыл океан. А он, Виталий, не опроверг. Значит, наврал. Опять наврал. Только и делает, что врет и подвирает. Когда надо и когда не надо тоже. По привычке. Тот француз ради людей пил соленую воду, ел сырую рыбу, ночевал среди акул. А он, Виталий, сверх своей положенной нормы ничего ни для кого делать не будет, пусть хоть лопнут все трубы и весь микрорайон будет ходить по колену в воде.

Виталий не заметил, как спустился к Яузе. На берегу в рассветных сумерках белел Андроньевский монастырь, под его стеной чернела шина от грузовика.

Виталий скатил эту шину в воду и, не совсем отдавая себе отчет, сел на шину и поплыл по реке, работая руками, как веслами.

Сняли его в Норвегии.

Трофимов возвращался из бара под утро. Он шел по ночному городу и слышал свои шаги. Дома, мимо которых он проходил, несли в себе время, и Трофимов подумал впервые: как красив его город! Раньше он просто не обращал на него внимания. Он вообще многого не замечал раньше, как будто жил с одним глазом и дышал одним легким. А сегодня он вдыхал полной грудью и смотрел во все глаза. И это оказалось в два раза лучше, чем прежде.

Сильвана больше не вернулась, и водопроводчик куда-то затерялся. Но ничего. Не маленький. Сориентируется. Что касается Сильваны, он от нее освободился, и теперь в него, в Трофимова, больше помещалось. Больше города, больше воздуха, больше смысла.

«Не сотвори себе кумира, ни подобия его». Эта заповедь стоит в одном ряду с «не убий» и «не укради». Значит, сотворить кумира и убить живую душу – одно и то же. Убить в себе часть себя и на это место поместить кумира. Значит, в тебе половина тебя, а половина не тебя. Украдена ровно половина.

Трофимов шел по Арбату, весь из себя Трофимов, и в нем больше не было никого и ничего: ни Сильваны, ни стафилококка, ни разъедающей неудовлетворенности, ни зависти к иной, недостижимой жизни. Он ощущал себя тем, пятнадцатилетним. Впереди – вся жизнь, и можно было заново ее завоевывать и покорять, как альпинист, но не с самого подножия, а с уже взятых высот – еще выше и круче. До самого пика. Чтобы потом встать, и обозреть, и поставить свой флаг.

Трофимов не растратил себя за тридцать лет. Он как будто простоял в холодильнике и

теперь вышел, пошатываясь, в лето, ощущая мощный запас жизни и доверия к миру.

Жена и сын спали, каждый в своей норке, и даже во сне чувствовали свою защищенность: никто не придет и не сожрет, потому что их охраняет хозяин. Трофимова обдало теплой волной нежности и благодарности за то, что они есть. Что ему дано защищать двоих: женщину и мальчика. Это его женщина и его мальчик. Он им нужен. И значит, не одинок, а как бы утроен.

Хлеба не было, как всегда. Те же заплесневевшие куски в муравьях. Муравчики сновали крошечные, грациозные, похожие на полосочки тире в пищащей машинке. Странно, что эти создания назывались грозным словом: термиты – и могли сожрать, например, деревянный дом.

Жена возникла в дверях бесшумно и внезапно, как привидение.

– Хочешь, я схожу за хлебом? – предложил Трофимов.

– Я и сама могу сходить.

– А давай вместе сходим.

– Зачем? – не поняла жена.

– Вместе, – повторил Трофимов, как бы втолковывая смысл слова «вместе».

Жена робко смотрела в его лицо, как девочка – та самая, которая кинулась ему под ноги на катке. Она стояла, держась за дверной косяк, и не смела пройти, как будто это был не ее дом.

– Заходи, – пригласил Трофимов. – Чего стоишь...

Хорошая слышимость

На Метростроевской улице выстроили кооперативный дом. Дом строился долго, года три или четыре, за это время в нем сменилось два председателя. Один ушел сам, надоело быть выразителем частнособственнических интересов, а другого сместило правление за то, что использовал служебное положение в личных целях.

Тем не менее дом был построен и заселен, и на первом этаже возле лифта был посажен сторож дядя Сережа, который дежурил попеременно со своей женой.

Кооператив назывался «Художник-график», но жили в нем не только художники, а представители самых разнообразных специальностей. Лучше других дядя Сережа знал фотографа Максимова, потому что к нему ходило очень много женщин. Максимов пользовался у них громадным успехом, так как был холост, некрасив и казался легкой добычей.

Вкус у Максимова был самый разнообразный. Когда в лифт входила молодая женщина и возносилась вверх, дядя Сережа прижимался животом к решетке, открыв от напряжения рот, ждал, на каком этаже остановится лифт. Убедившись, что кабина стала на седьмом этаже, дядя Сережа удовлетворенно кричал и отходил. За все время он не ошибся ни разу.

Иногда с шестого этажа спускалась девяностошестилетняя старуха со странной фамилией Бекш. Бекш устанавливала свой раскладной стульчик, садилась возле парадного, дышала воздухом. Улица против дома шла на подъем, и машины в этом месте ревели моторами, фыркали выхлопными газами. Кто-то норовил перебежать дорогу. Бекш смотрела на все это остановившимися стеклянными глазами, замечала то, что в обычном здравье никогда и не заметишь.

Когда с улицы появлялась молодая Нина Демидова с бульдогом Борькой на поводке, дядя Сережа оживлялся и весело кричал:

– А у нас все дома!

Это была шутка, смысл которой заключался в том, что, дескать, Нина в этом доме не живет.

Нина смеялась и спрашивала:

– Дядя Сережа, пойдешь за меня замуж?

Это тоже была шутка. У дяди Сережи уже была жена.

Дяде Сереже хотелось побыть подольше возле Нины, и в знак особого расположения, а заодно чтобы скоротать время, он сопровождал ее на седьмой этаж. Ехали, как правило, молча. Мелькали этажи. Потом лифт останавливался, дядя Сережа распахивал железную дверь, выпускал Нину и Борьку на седьмой этаж.

На седьмом этаже, так же как и на других, было четыре квартиры. Там жили: пианистка Маша Полонская с семьей, экс-председатель Волков с женой Ритой и сыном Славиком, Максимов без семьи и художница Нина Демидова, тоже без семьи.

В дверь экс-председателя Волкова было врезано семь замков, причем каждый был изготовлен по специальному заказу и содержал в себе какой-нибудь секрет. Попасть в квартиру Волкова было так же сложно, как в сейф.

У Полонских на дверях висела медная табличка под старину. На ней каллиграфическим почерком сообщалась фамилия хозяина, его имя и отчество.

На двери Максимова не было ни таблички, ни замков, зато был врезан оптический глазок, чтобы можно было посмотреть из квартиры, кто к тебе пришел. Такие оптические глазки, говорят, врезают в дверь популярные киноартисты, потому что к ним ходит очень много народу и преимущественно без приглашения.

Дверь у Нины Демидовой была нормальная, без таблички и без оптического глазка, но очень грязная. Она никак не могла собраться купить электрический звонок, и все, кто к ней приходил, стучали в дверь ногами.

Двери на седьмом этаже были в чем-то одинаковые: обитые дерматином под муар, с металлическими кнопками по краям, а в чем-то совершенно разнообразные. И хозяева были похожи на свои двери: в чем-то одинаковые, а в чем-то совершенно разнообразные.

Полонские. Есть поговорка: в каждой избушке свои погремушки. Под избушкой имеется в виду квартира, а под погремушками – неприятности. Если перевести поговорку на современный язык, получается: в каждой квартире свои неприятности. В квартире Полонских никаких неприятностей не было.

Маша – красивая блондинка, с высокой шеей, маленькой птичьей головкой и осмысленной талией. Замечательная пианистка.

Юра – рослый брнет, огромный и широкоплечий, похожий на белого негра. Интеллектуальный спортсмен. Оба были здоровые и талантливые, у них рос ребенок – тоже здоровый и талантливый, но рос он не с ними, а у Машиных родителей, так что все сложности и неудобства воспитания доставались родителям, а Маше и Юре доставался результат. И как-то так выходило, что все радости в этой жизни они получали легко и даром.

Максимов. Хотел жениться и искал себе жену. К будущей жене он предъявлял следующие требования:

1. Чтобы она была молодая, красивая и знаменитая, например, чемпионка по фигурному катанию или диктор Центрального телевидения. Чтобы на улице все узнавали ее и оборачивались.

2. Чтобы она была замечательная хозяйка, экономная и изобретательная. Могла прожить неделю на три рубля.

3. Чтобы имела идеальный характер и, когда Максимов бы напивался в гостях, тащила бы его домой молча, не ругаясь.

4. А когда бы она ему надоела, мог бросить ее на год или два и уехать, а она бы в это время верно ждала его и не обижалась.

До сих пор такой жены Максимов не нашел и пребывал в постоянном состоянии поиска.

Волков. Экс-председатель, тот самый, который использовал служебное положение в личных целях. Во время строительства дома он подвинул свою стенку вправо, отчего его комната стала на 10 сантиметров шире, а у Максимова – на 10 сантиметров уже. Возможно, Максиму это не нравилось, но Волкова его мнение не интересовало. Поговаривали, что Волков настлал у себя паркет без изоляционной прокладки, так что потолок у него получился на пять сантиметров выше, чем в других квартирах.

Есть люди, которые все гребут к себе, а есть люди, которые все гребут от себя. Волков греб к себе.

Нина Демидова была художник-график, оформляла детские книги. Она очень любила детей и старалась получше для них рисовать. Дети – существа благодарные, но эта благодарность не возвращалась к Нине, потому что дети никогда не запоминают фамилию художника.

У Нины жил бульдог Борька, но принадлежал он не ей, а ее хорошим знакомым. Хорошие знакомые уехали на три года за границу, а собаку не взяли, оставили Нине. Через три года они обещали вернуться и забрать ее обратно.

Три года назад, когда дом только еще начинал строиться, у Нины был муж. Они жили на стипендию, снимали проходную комнату возле Белорусского вокзала, вместе преодолевали трудности. А когда дом был построен и трудности оказались позади, муж ушел к новой жене, к новым трудностям. Иногда он звонил по телефону, но уже как чужой муж. У Нины вообще все было чужое: дети, собаки, и даже квартира была записана не на нее.

Соседи превосходно сосуществовали, забегали друг к другу за солью, за спичками и затем, чтобы поговорить о странностях любви. Случалось, к Нине заходила старуха Бекш, присаживалась на краешке стула и вспоминала своего покойного мужа, с которым она познакомилась в Цюрихе.

– Ваш муж был немец? – удивлялась Нина.

– Нет. Киевский мещанин.

– Зачем было ехать в Цюрих, чтобы познакомиться там с киевским мещанином? Вы могли бы познакомиться с ним в Киеве...

– Конечно, – соглашалась Бекш. – Мы могли бы познакомиться с ним в Киеве, но мы познакомилась в Цюрихе.

Маша Полонская приходила к Нине каждый день, а Волков не заходил никогда, боялся бульдога Борьки.

Максимов прибежал и спрашивал: «Не могли бы вы мне одолжить ложечку сливочного или любого другого масла?» Или: «У вас не найдется в долг три, а лучше пять рублей?»

Нина всегда давала ему в долг и деньги, и масло и при этом видела, что Максимов немолод, лет сорока шести, и ему хочется простых библейских радостей: с детьми, обедами, скучными уютными семейными вечерами. А любви, на которую он обречен, ему уже не хочется.

Все было мирно между соседями до тех пор, пока Маша Полонская не купила в комиссионном магазине рояль фирмы «Беккер». В лифт он не помещался, и рабочие на плечах волокли его на седьмой этаж.

Это было не какое-нибудь современное пианино фирмы «Лира» или «Латвия». Это был старинный инструмент из выдержанного дерева, служивший, возможно, самому Михаилу Ивановичу Глинке.

Звук у рояля был глубокий, сочный, клавиши чуть тугие, что позволяло развивать технику. Маша преодолевала сопротивление клавиш, и звуки, летящие из-под ее пальцев, отзывались в ней весной. Такое чувство бывает, когда в апреле ешь первые огурцы.

Что касается Нины Демидовой, то у нее было совершенно другое чувство. Музыка за стеной доносилась с такой явственностью, будто кто-то включил радио. Слышна была каждая нота, каждая музыкальная фраза.

Детские крики за окном, шум машин – неорганизованные звуки улицы – ее, как правило, не отвлекали. Но Чайковский вырывал ее из необходимого рабочего состояния.

Нина затыкала уши ватой, потом повязывала голову махровой простыней, но все время ловила себя на том, что прислушивается, не могла сосредоточиться и падала духом.

Нина была человеком добрым и доброжелательным, но в такие минуты тихо желала, чтобы случилось что-нибудь в доме Полонских, в их накатанном благополучии. Например, сломала бы Маша правую руку и два года не подходила к инструменту. Или: посадили бы Юру в тюрьму, а Маша, как жена декабриста, последовала бы за ним в Сибирь. Или просто:

поменялись бы Полонские на большую площадь и переехали из этого района в другой.

К Маше по утрам приходил певец из Москонцерта. «Ты вздыхаешь, ты молчишь и плачешь. И слова любви в устах твоих немеют...» – пел Машин певец.

«В устах твоих немеют», – поправляла Маша мелодическую неточность.

Нина сидела с обвязанной головой, слушала переплетение двух сильных красивых голосов, и ей казалось, что лучшее в жизни обходит ее стороной, и она немножко завидовала Маше, которая умеет приспособить не себя к жизни, а жизнь к себе.

Максимову «Беккер» не мешал. Он проявлял пленки, печатал карточки, для этой работы ему не обязательны были ни вдохновение, ни особое состояние.

С Волковым же дело обстояло самым трагическим образом. Он был художник-плакатист, работал дома и по несколько раз в день ходил к Маше выяснять отношения. То, о чем Нина Демидова тайно мечтала в тиши ночей, Волков обещал реально: обломать руки, посадить в тюрьму и даже обговаривал реальные сроки.

К обещаниям Волкова Маша отнеслась с юмором и продолжала играть – одна и с певцом. Поэтому в одно прекрасное солнечное утро к ней пришла повестка из районного суда, в которой сообщалось, что Маша должна явиться в суд такого-то числа по такому-то адресу. В случае неявки было обещано привести ее под конвоем.

– Ты знаешь? – Маша протянула Нине повестку. Лицо у Маши было растерянное.

– Знаю. – Нина знала о предстоящем суде и ждала его, как соловей лета.

– Я хочу попросить тебя пойти на суд. В свидетели...

– Зачем?

– Ты скажешь, что я тебе не мешаю. А то меня выселят.

– Я не могу быть твоим свидетелем, – отказалась Нина.

– Почему? – Маша подняла высокие брови.

– Потому что ты мне мешаешь. Не даешь работать. Говорить об этом на суде я не буду, поэтому я лучше не пойду. Обойдись без меня.

Маша помолчала, ее глаза наполнились слезами. Она повернулась и пошла, мелко ступая, как балерина.

В этот день она больше не играла на своем рояле, может быть, боялась тревожить соседей накануне суда, а может, просто была расстроена предательством Нины, предстоящим судом и неопределенностью положения в собственном доме.

Нина могла бы воспользоваться тишиной и работать, но ей тоже не работалось. Лежала на диване, смотрела в потолок и думала о том, что, отказываясь быть Машиним свидетелем, невольно поддерживает Волкова, который отрицательно заряжен и не прав в принципе всем своим существованием. Думала о том, что умеет быть широкой до тех пор, пока это не задевает ее интересов. А если так, то какая разница между ней и Волковым.

Бульдог Борька, чувствуя своим тонким организмом настроение Нины, томился, шумно, меланхолично вздыхал и слонялся из угла в угол, клацая когтями по паркету. Суд был назначен на десять часов утра, но судья запаздывал, и члены жилищно-строительного кооператива «Художник-график» сидели в коридоре на деревянной скамейке. Ждали.

Свидетелем Маши была Нина Демидова. Она должна была сказать, что музыка за стеной ей не мешает, а, наоборот, вдохновляет и облагораживает. Свидетелем Волкова был Максимов. Он должен был заявить, что рояль ему мешает, лишает необходимого одиночества.

Помимо Максимова, Волков привел жену Риту и сына Славика, которые тоже страдали от шумного соседства и готовились предстать перед судом вещественным доказательством, живым укором.

Полы в суде были дощатые, скамейки деревянные. Все крашено чем-то бежеватым, тусклым. Люди ходили сумрачные, сосредоточенные, и Нина, не умеющая переносить обстановку судов, больниц – обстановку несчастий и зависимости, – мечтала, чтобы все скорее кончилось и она ушла домой.

Максимов сидел на лавке, ел плавленый сырок. Не успел позавтракать дома. Вид у него

был сконфуженный, вероятно, от предстоящего лжесвидетельства. Почему он на него пошел, было не ясно, скорее всего Волков пообещал ему три, а лучше пять рублей и подарил плавленый сырок.

Группа Волкова держалась особняком. Когда Славик подошел к Нине, Волков резко оттащил его, хотя между Ниной и Славиком никаких противоречий не было.

Нина иногда поглядывала на Волкова, как бы спрашивая глазами его шансы на успех. Ей очень хотелось, чтобы Волков выиграл процесс, тогда она сохранила бы свой моральный облик и получила возможность работать по утрам.

Наконец появился судья. Все прошли в зал. Судья сел на стул с высокой спинкой, а по обе стороны от него – народные заседатели, две немолодые женщины.

Перед судейским столом в первом ряду расположились обе конфликтные стороны: слева Волков с семьей и Максимов, справа – Маша и сопровождающие ее лица, Нина и муж Юра. Юра заметно нервничал: обычно он, как правило, острит, разговаривал фразами из популярных песен и из популярных анекдотов. А тут ни разу не вспомнил ни одной песни и ни одного анекдота, глаза его казались белыми на красном, будто распаренном лице.

На задних рядах расселись случайные зрители, преимущественно старухи пенсионерки, любители открытых судов. Им было интересно и не совсем понятно, о чем заспорили творческая интеллигенция.

Первым взял слово истец, то есть Волков. Он поднялся со стула, держа шапку в опущенной руке, и, багровея ушами, стал говорить о том, что на последние трудовые сбережения мечтал приобрести себе квартиру, а приобрел камеру пыток. Его нервы больше не выдерживают, и, если так все будет продолжаться, он покончит жизнь самоубийством, потому что другого выхода для себя не видит. Он уже купил наушники для водолазов, обил все стены и потолок сотами, в которых продают диетические яйца. От этого его комната стала на пять сантиметров ниже и на десять сантиметров уже, чем была. Но ничего не помогает.

– Поменяйтесь, – предложил судья.

– Почему это я должен меняться? Они виноваты, а я должен меняться...

Волков сказал это таким тоном, что всем стало ясно: он скорее покончит жизнь самоубийством, чем сдаст свои позиции.

Закончив выступление, Волков сел на место с видом неудовлетворенным и униженным, но не смирившимся. Его жена Рита сняла пальто, чтобы не было жарко, расстегнула курточку на Славике. Она сидела на стуле, широкая в плечах и в бедрах, с широким свежим лицом, и вид у нее был домашний и какой-то уютный.

– Понимаете, – говорила она смущенно, – только ребенка укачаешь, вдруг грохот, пение. Он подхватывается, плачет...

Славик рассеянно крутил светлой головкой, не подозревая, что речь идет о нем. Волков погладил ребенка по волосам, и чувствовалось, что сделал он это скорее для судьбы, чем из отеческих побуждений.

Потом выступил Максимов. Он любил внимание к себе масс, но в силу обстоятельств был лишен этого в своей жизни. Сейчас, получив на несколько минут аудиторию и внимание, засверкал всеми своими гранями. Он заявил, что надо соблюдать правила социалистического общежития. А так как дом – своего рода общежитие и, безусловно, социалистическое, то этот принцип имеет прямое отношение ко всем его членам. И нечестно ставить рояль на голову трудящимся, а если человеку хочется поиграть, пусть идет в места общего пользования, садится на сцену и играет сколько вздумается.

Маша нервно двигала пальцами по колену, продолжая играть по привычке, превратившейся в безусловный рефлекс. На ней было кожаное пальто, сшитое по моде, но не по последней, а по той, которая еще будет. Маша предчувствовала моду. Из-под пальто глядели ноги в клетчатых брючках, на голове маленькая, как у жокея, клетчатая кепочка. Здесь в суде все это смотрелось немножко бестактно, но Маша была умна, хитра и умела все

свои недостатки обратить в достоинства.

Она достала из сумки две бумаги. Одна – вырезка из газеты, где сообщалось о том, что Маша хорошая пианистка и ее деятельность необходима людям, так как прибавляет в их жизни красоты и осмысленности. Другая бумага – справка из Москонцерта, в ней указывалось, что Москонцерт отдельного помещения для репетиции не предоставляет. От себя Маша добавила, что готова съехать с квартиры и поселиться в любой другой, но нет гарантии, что ее не выселят и оттуда, и тогда ей ничего больше не останется, как поселиться со своим «Беккером» под открытым небом, как в узбекском кинофильме «Белый рояль».

В своем выступлении Маша очень тонко и точно выдержала пропорции ума, такта, юмора, незащитности и легкой безысходности. При этом она обожала глазами судью и народных заседателей, и те, в свою очередь, готовы были простить ей все, и даже если бы она совершила серьезное преступление, ее все равно оправдали бы или дали очень маленький срок.

Волков был примитивен в своем качании прав и неделикатной настырности. Он не учел такого серьезного фактора, как Л. О. – то есть личное обаяние.

Маша распространяла свое личное обаяние вместе с волнами духов «Шанель», и казалось, что она не обвиняемая и даже не свидетель, а так... И только по тому, как бегали по колену ее пальцы с профессионально коротко остриженными ногтями, можно было догадаться, что все-таки обвиняемая.

После Маши к судейскому столу вышла Нина.

– Вам мешают соседи? – спросил судья.

Глаза у него были грустные и круглые, как у бульдога Борьки, Нина посмотрела в эти знакомые глаза, и в носу у нее заломило. Ей вдруг стало жалко себя, не из-за рояля, а в принципе. Судья внимательно смотрел на нее, и Маша тоже смотрела, и Юра перестал крутить в руках свою замшевую кепку.

– Но ведь она не виновата, – тихо сказала Нина. Это был компромиссный ответ. В нем она и обвиняла Машу, и оправдывала ее: «Конечно же, мешает, но она не виновата».

– А кто виноват? – спросил судья. Это был классический вопрос.

– Стены тонкие... – сказала Нина.

– Точно! – обрадовалась старуха из зала.

Видно, сама запуталась в поисках истины.

– Подумаешь, рояль... – сказала тетка помоложе. – Вон у нас один знакомый из Африки приехал, крокодила привез. Он у него в ванне живет.

– Так крокодил же молчит, – вмешался Волков.

– Ага, молчит... Зато выйдет на лестничную площадку и сожрет кого-нибудь. Это же аллигатор!

Судья постучал кулаком по столу, прекращая прения. Расстановка сил была невыгодной для Волкова, он чувствовал это и с надеждой ждал выступления своего адвоката.

Выступил адвокат. Это была женщина лет семидесяти, по всей вероятности, на пенсии, подрабатывающая от случая к случаю.

– Каждый человек имеет право на отдых и на труд, – начала она. – Товарищ Волков лишен такого права и на отдых, и на труд...

Адвокат говорила очень медленно, сильно растягивая каждое слово, и могла бы говорить бесконечно, если бы ее не перебил судья.

Судье изрядно надоела эта история, в которой ему все давно было ясно. День только начинался, впереди было много других дел. Судья посоветовался с заседателями и объявил: «Иск Волкова о выселении Полонских оставить без удовлетворения. Обвиняемая играет на рояле не по ночам, а днем, не раньше шести утра и не позже одиннадцати вечера. Ее действия не могут быть рассмотрены как хулиганские, а если человек не хулиганит и не нарушает норм общественного поведения, выселить его никто не имеет права».

Далее судья вынес частное определение: Полонским купить толстый ковер и повесить его на стену.

Когда суд окончился, Рита заплакала. Увидев, что мать плачет, разревелся Славик.

Судья медленными движениями собирал бумаги и думал, возможно, о том, что стены тонкие, а люди не слышат друг друга. В суд ходят.

Маша поднялась и вышла из зала, прямо держа спину, мелко ступая, как балерина.

– Сейчас придешь домой и ляжешь спать, – сказал ей Юра. Он беспокоился о жене и хотел, чтобы она возместила сном нервную затрату. Нина, Маша и Юра вышли из суда. Надвигалась весна, снег лежал бежевый, хрупкий, ошетилившийся. Выступали обнажившиеся от снега бока земного шара. В глубине двора виднелась темная от дождей детская деревянная горка.

Юра остановил такси, все втроем уселись на заднее сиденье. Когда машина проехала несколько метров, Нина сказала:

– Слушай, давай договоримся...

– О чем? – спросила Маша.

– Я буду работать с семи до одиннадцати, а ты садись в одиннадцать. Не в десять, а в одиннадцать. Один час...

Маша не ответила, по-прежнему рассеянно глядя за стекло на пешеходов, которые шли пешком. Ей по ее режиму было удобно просыпаться в девять, а садиться за рояль в десять. А в одиннадцать ей было неудобно, потому что некуда девать дорогой утренний час.

Вечером Полонские пригласили Нину к себе на блины. К блинам подавалась красная рыба, белые грибы, сметана, земляничное варенье, пахнущее лесом. Водка была перелита в пузатый графинчик старинного зеленоватого простого стекла. В высоком хрустальном кувшине с широким горлом стоял рубиновый гранатовый сок. Стол был не загроможден, и от всего, даже от сочетания цветов на белой скатерти, веяло уютом, умением жить внимательно, со вниманием к каждой детали, чего совершенно не было в Нининой жизни. У нее в доме жил бульдог Борька, который линял по весне, и его шерсть лежала на всем. Однажды у Нины остановились часы, и часовщик спросил: «Откуда у вас в часах собачья шерсть?»

Юра поднял тост за выигранное дело, и все пили за выигранное дело, не переоценивая свою победу и отдавая ей ровно столько, сколько она заслуживала. Потом пили за дружбу, за друзей, за искусство, и все мало-помалу захмелели и вступили в состояние благостного понимания и проникновения. И Нина уже не помнила, что у нее отнята возможность работать, а все казалось славно и светло, и хотелось добра всем, даже Волкову.

Черный беккеровский рояль стоял величественный и равнодушный, тускло мерцая при свечах лакированным боком. Свечи – это не дань моде. Электрическая лампочка светит всем, а свеча – только тебе. И когда ты сидишь перед свечой, которая горит только тебе, хочется думать о чем-то высоком и подлинном, неизмеримо превышающем каждодневные человеческие помыслы. Хорошо вернуться к прошлому, и быть к нему снисходительным, и найти в нем то, что дает силы жить дальше.

Маша посмотрела на часы: было десять, до одиннадцати еще оставался целый час. Она села за рояль и запела польскую песню «Эвридики». В этой песне говорилось о том, что каждую ночь из туманной Вислы выходят Эвридики и танцуют до зари.

Нина представила себе этих танцующих Эвридик пятнадцатилетними девушками, почти детьми, с высокими шеями, большими глазами. Они прекрасны одним только своим существованием, и для того чтобы быть любимыми, им не надо быть умными и оформлять детские книги.

В дверь позвонили. Маша сняла руки с клавиш. Все были уверены, что явился Волков, или Рита, или в крайнем случае послали Славика.

Но это был не Волков. По этажу ходил дядя Сережа и звонил в каждую дверь. В руках у него были кооперативные книжки, длинные, как блокноты, в мягких синих обложках. Все обитатели седьмого этажа вышли на лестничную площадку.

– Вот, – сказал дядя Сережа, раздавая книжки их владельцам. – На последней странице напишете: кому вы завещаете кооперативный пай.

– Как это «завещаете»? – не понял Юра.

– Кооперативная квартира – частная собственность, – объяснил дядя Сережа, заранее выучив на память сложную формулировку. – Так что, если помрете, надо предупредить, кому останется.

– А я, может, не собираюсь помирать, – вызывающе проговорил Волков, забыв, что еще днем обещал покончить жизнь самоубийством.

Поражение на суде Волкова не обескуражило, он знал, что из каждой, даже проигранной ситуации можно найти выход и извлечь свою пользу. Из данной ситуации Волков собирался извлечь бесплатную мастерскую и надеялся получить ее вне очереди, как инвалид, пострадавший на «нравственном фронте».

– Ты, может, и не собираешься, – Максимов коротко, встревоженно глянул на Нину, – а вот выйдешь на улицу, на тебя сверху сосулька упадет, и «здрасьте, Константин Сергеич!» – Под Константином Сергеичем Максимов имел в виду Станиславского.

Максимов засмеялся своей шутке, приглашая глазами посмеяться остальных. Он хотел, чтобы Полонские и Нина забыли о суде, будто никакого суда и не было. Но соседи не засмеялись.

Дядя Сережа вручил кооперативные книжки седьмому этажу и пошел вниз на шестой. Ему предстояло обойти весь дом.

После ухода дяди Сережи веселье, затеянное Полонскими, было как-то смято. Все вдруг вспомнили, что придется когда-нибудь умирать, и в этой связи все победы и поражения показались преходящими.

Все попрощались и разошлись, каждый в свою квартиру, каждый за свою дверь.

Настала ночь. В небе над Метростроевской улицей остановилась полная луна. На ней были пятна, напоминающие глаза, нос, рот, и луна походила на рожицу, рисованную рукой ребенка из книжек Нины Демидовой.



Виктория ТОКАРЕВА

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ

